

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Выйдя в 1966 году из лагеря, я считал, что написать и предать гласности то, чему я был свидетелем, — это мой гражданский долг. Так появилась книга "Мои показания".

Потом я решился попытать свои силы в художественном жанре. В пермских лагерях (1968 - 1971 годы) я задумал и спланировал повесть "Живи, как все" — не о лагере вовсе, а о нонконформисте и его трагической судьбе. Я совершенно не могу судить об успешности или неуспешности моей попытки, так как черновые заготовки и наброски повести систематически поглощал Главный Архивариус — КГБ — во время тайных и явных обысков и в лагере, и на воле. Ради сохранности сбереженного от обысков черновика я не рискнул еще никому его показать. Поэтому пока единственными моими литературными экспертами стали работники КГБ, и вот их заключение: " ... эти записи представляют собой черновики, которые могут послужить для написания антисоветских произведений".

Я не берусь за перо, ставя себе задачу написать "антисоветское" или "советское". Я пишу свое. Меня увлек мой замысел, судьба моего героя.

Тем временем моя собственная судьба рисует свой чертеж, и вот мне приходится отложить работу над повестью "Живи, как все". Где-то я читал наставление : если ты стал свидетелем стихийного бедствия, иностранного вторжения, порабощения и т.п., то запиши все, что увидишь сам или услышишь от других; это твой долг.

Снова долг заставляет меня свидетельствовать о том, что пока еще, по-моему, никто не рассказал, а мне довелось испытать на собственной шкуре. Так появился очерк "От Тарусы до Чуны".

.....

Этот очерк — не дневниковая запись. Он написан уже в ссылке, по памяти. Поэтому кое-что, вероятно, упущено. Некоторые "боковые" эпизоды я опустил специально; может быть, когда-нибудь вернусь к ним. Многие осмысливались мною уже теперь, после событий.

.....

.....

25 февраля 1975 года. В милиции меня, как водится, обыскали. Изымать оказалось нечего: еще в декабре я отобрал для тюрьмы брюки поплоче, они сейчас были на мне, да теплый свитер, да телогрейка; с декабря же дома на вешалке висела авоська, а в ней пара белья, теплые носки и рукавицы, мыло, паста и зубная щетка — и все. Продукты мне не понадобятся. Взяли у меня только пустую авоську и выдали на нее квитанцию. Остальное — со мной в камеру.

Но еще раньше стали заполнять протокол. Я назвал себя, а на прочие вопросы отвечать отказался. Дать отпечатки пальцев тоже отказался. Расписаться в какой-то казенной бумаге — тоже. Я так решил заранее — не участвовать ни в каких их формальных процедурах: раз в отношении меня совершается произвол и насилие, так пусть, по крайней мере, без моей помощи.

Понятой (с обыска) был настроен решительно: — Все равно даст отпечатки, не добром, так силой. Заковать его в наручники, и катать!

Милиционеры в дежурке возмущались и удивлялись: — Да мы тут при чем? К нам-то какие претензии?

Сколько раз я это уже слышал и сколько еще выслушаю! Вот в дежурку вошел один их тех, кто еще недавно тоже был "не при чем", — мой "надзор" Кузиков. Не он устанавливал надзор, при чем тут он? А велено было — и написал на меня ложный рапорт, и на суде еще даст ложные показания. Ему за это, может, благодарность в приказе, а мне — лагерь ... Кузиков остановился в двух шагах от меня, демонстративно вытащил из кармана маленький пистолет и ... но я отвернулся и не видел, что он делал с пистолетом, только слышал, как он резко клацкнул чем-то прямо над моим ухом. Вот дурак! Палец у него был в крови: пострадал герой во время "операции", когда силой волок нашу гостью в милицию. Гостью я тоже мельком увидел здесь, когда ее привели; мы едва успели кивнуть друг другу. Это, вероятно, моя последняя "вольная" встреча.

В камере я, слава Богу, один. Привычная обстановка, будто и не жил на воле. Бросаю телогрейку на нары: "одно крылышко подстелю, другим укроюсь".

Но уснул я нескоро. Хуже нет в камере вспоминать о доме, но попробуй-ка не думать. Во все предыдущие аресты было куда легче, я тогда был один. А теперь, чуть закрываю глаза,

так живо, как наяву, представляется: вот Пашка утречком проснулся, встал на ножки в своей кровати и раскачивает ее изо всех сил. Смеется, зовет меня; он и ночью, и утром только меня признает, мать спит в другой комнате. Я же его и уложил вечером, укачал на руках, пока шел обыск. Так и чувствую вес детской головенки у себя на плече. Как-то там жена управится с малышом и с домашними хлопотами? Мы заранее договорились, чтоб она сразу уезжала из Тарусы в Москву, там ей помогут родные и друзья; но все равно трудно будет, конечно.

Думал и о том, что ждет меня завтра. В Тарусе, ясно, не оставят, да и суд могут назначить буквально через день, расследовать-то нечего, бумажки все уже давно готовы: нарушение № 1, нарушение № 2 ...

26 февраля. Утром меня разбудил грохот замка в двери. Почему-то все тюремные замки отпираются и запираются со страшным грохотом. Арестант - "декабрист", сопровождаемый дежурным по КПЗ, поставил на нары кружку кипятку и положил пайку хлеба:

– Завтрак.

– Я не принимаю пищи.

Объясняться с дежурным по этому поводу я не стал.

Часов около 9-ти меня снова подняли – на выход. В дежурке отдали мое имущество – авоську. Значит, увозят из Тарусы. Куда же? Из окна воронка (тарусский воронок – микроавтобус, без боксов, с окном в редкой решетке; в нем нас двое: я да милиционер, а в кабине с шофером еще один, везет портфель) – из окна хорошо видны были любимившиеся мне старые улочки Тарусы, и я прощался с ними. Если поедем направо мимо автостанции – то в Серпухов или, может, в Москву; налево и вверх – дорога на Калугу. Ехать почти мимо дома, но его не видно за поворотом.

Машина повернула налево. Я чувствовал, уверен был, что Лариса где-то рядом. И даже не удивился, когда увидел ее. Она шла навстречу воронку, мимо молочного магазина, и катила в саночках Пашку; его красная шубка, одна на всю Тарусу, заметна издали. Лариса тоже увидела воронок, остановилась, напряженно всматриваясь. Машина поравнялась с ними, и я застучал в окно. Лариса взмахнула рукой, наклонилась что-то сказать Пашке и долго стояла, глядя вслед, пока воронок

карабкался вверх по обледенелой улице.

Ну, хоть будет знать, что в Тарусе меня уже нет. Съедемся ли мы снова все втроем? Когда? Где?

Знакомая дорога — за два с половиной года не раз по ней проехал. Последний раз совсем недавно, в конце января, когда вызывали в областной ОВИР: мол, оформляйте документы на выезд. А перед тем там же уговаривали и угрожали: подавайте в Израиль, не то вас ждет суд и лагерь. Так оно и вышло.

Вот Петрищево — здесь нам просто чудом удалось зацепиться после двух месяцев безуспешных поисков и попыток прописаться. Дальше Ферзиково — сюда к судье вызывали Гинзбурга, тоже по поводу надзорного нарушения. Может, и меня на суд? Нет, белая скульптура — лось — промелькнула в окне слева, мы едем дальше. Теперь уже точно — в Калугу.

За дорогу я еще раз обдумал выбранную заранее позицию неучастия ни в каких формальностях. Какого черта? И я сам, и те "верхи", кто решил мою судьбу, и исполнители, приложившие к ней руку, — все мы знаем, что дело не в надзоре, что суд будет липовый, по ложным показаниям, что вообще посадили не за то — был, не был дома, а зато, что я, какой есть, не гожусь в этой стране, вечно я им поперек горла, а они мне. Так какого же черта мне вдруг стать послушным и шелковым теперь, за решеткой? Только из-за того, что не на виду, не среди друзей? С другой стороны, как это противно и унижительно — стычки по мелочам, стычки на каждом шагу, с надзирателем, тюремным чиновником, с любой мелкой сошкой; не с ними я воюю за себя, но — через них; главных-то я не увижу.

Приехали. Ну, сейчас начнется.

— Руки назад!

— Нет, не возьму.

— Подойди к столу, пальцы покатаем (т.е. снимем отпечатки).

— Не дам.

— Что-о?! Кто тебя будет спрашивать — дашь, не дашь!

— Делайте сами, насильно. Я вам не помощник, а помешать постараюсь.

В комнате, куда меня привели для этой процедуры, было несколько человек: фотограф-зэк и трое надзирателей. Один из них, толстый и добродушный на вид старшина, только что

неторопливо рассказывавший какую-то историю, опомнился первым (сначала все они казались ошарашенными моей наглостью):

— Ты, герой! Бока не ломаны? Умолять будешь... Закуем на всю железку, сам запросишься... Еще и этого понюхаешь, — и он сунул мне под нос огромный железный ключ (у него в руках была целая связка).

Меня просто поразило, как мгновенно он переменялся. Только что добродушный и шутливый рассказчик, сейчас он налился кровью, вены на толстой шее вздулись, он даже вскочил со стула. Он буквально шипел от ненависти, дрожал от желания немедленно расправиться со мной. Что я ему сделал — оскорбил, обидел?

Остальные тоже возмущались и грозили. По телефону между тем вызвали дежурного. Пришел молодой еще офицер, ему изложили ситуацию.

— Это еще что за фокусы? — обратился он ко мне.

— Не фокусы. Такая вот форма протеста.

— Протестуй на воле, а перед нами нечего. Нас ваши протесты не (дол)бут. Будешь катать?

— Нет.

Офицер приказал мне повернуться спиной и подать руки. Я подчинился, и он стал неуклюже надевать мне наручники. Потом проверил, туго ли они затянулись. Тут подскочил старшина и стал затягивать сам. Между делом он осыпал меня отборным матом, бил ключом в спину, а под конец, разведя мои руки за спиной, подпрыгнул и ударил коленом по цепочке между наручниками. Это он на совесть заковывал меня. У меня потемнело в глазах, показалось, что руки вырывают из плеч. К тому же я не мог устоять от удара такой туши и упал бы, конечно, но мне не дали упасть заботливые руки надзирателей. Несколько сильных ударов под бока кулаками и ключом в спину:

— Стой смирно!

Когда я перестал шататься, прекратились и удары.

— Следуй за мной, — приказал офицер.

И мы пошли: впереди офицер, за ним я с закованными сзади руками, вплотную рядом со мной и сзади два надзирателя — сержант и толстяк-старшина. До лестницы меня не били, только страшно материли и угрожали. А на лестничной площад-

ке снова сильный удар ключом в спину чуть не сбил меня, и я привалился к поручням. Офицер обернулся на шум — и внезапно резко ударил меня по ребрам, а второй раз ниже живота. Вот так меня спустили по лестнице, а там поволокли по коридору, пиная сапогами по ногам, колотя кулаками и ключом под бока, по спине, по животу. В коридоре нам навстречу попался майор (заместитель начальника тюрьмы, узнал я потом). Майор посторонился и дал нам *пройти*.

Меня втолкнули в бокс, напоследок швырнув на цементный пол — я еще и головой приложился. Вслед мне полетели телогрейка, шапка, носки.

Подняться с пола я не мог и даже не пытался переменить положение, так и лежал вниз лицом. Кисти рук я скоро совсем перестал ощущать, они онемели; но в плечах была страшная боль, я был уверен, что старшина выдернул мне правую руку из сустава. Потом я почувствовал и боль в ребрах (они болели еще недели две). Зато теперь моя позиция получила эмоциональное подкрепление: у меня появились "личные счета" с моими тюремщиками.

Дверь открывается.

— Ну как, будем пальцы катать?

— Не поманивает.

— Ну, лежи, лежи.

На третий или четвертый раз после дежурного вопроса — ответа с меня, к моему удивлению и радости, сняли наручники. Но подняться я смог нескоро. Погодя, переполз на телогрейку, а еще отлежавшись, и сел. Ближе к вечеру любезность надзирателей разъяснилась: меня повели к следователю.

Следователь Дежурная. Наградит же Бог фамилией по должности! А у одного известного следователя КГБ фамилия и того почище — Сыщиков.

Дежурная — следовательша Тарусской прокуратуры. Ей лет 35 — 40, лицо усталое, всегда озабоченное, совершенно невыразительное, без проблеска интереса к чему бы то ни было. И голос тусклый, без интонаций. Видно, что ее работа для нее — утомительный источник зарплаты и только. Вот приходится ездить к "подопечным" в Калугу, три часа в один конец, дорога — русская, тряская, домой вовремя не вернешься, а дома

семья... Это все как вырезано на ее унылом лице. Да и подопечные ее — не сахар, должно быть. И я среди них — ит самых вредных: отнял и не вернул постановление на обыск, рационализировать отказываюсь, на вопросы не отвечаю, ни одну бумагу не подписываю. Но Дежурная не раздражается и не злится. Устало и равнодушно она что-то там сама пишет, произносит автоматически свои *дежурные* увещевания:

”Ваша позиция вам только повредит... Вы нас не признаете — но это ничего не изменит... Марченко! Вы меня слышите?”

Какие, собственно, у меня к этой Дежурной претензии? Она спокойна (от равнодушия), неназойлива, в ее бормотание действительно можно не вслушиваться, сиди и отдыхай после бокса. Пожалеть про себя, что ли, эту усталую замороченную женщину?

Каждое слово, записанное ею в моем деле, было продиктовано ей сверху (вероятно, КГБ). Даже на запросы жены о моем состоянии она не отвечала сразу — бегала консультироваться. Даже самостоятельно отклонить ходатайство адвоката не решилась, в руки его не взяла, пока не получила инструкцию. Она-то отлично знала, что дело липовое, что показания Кузикова ложные. У нее был список свидетелей, опровергающих эти показания, — ни одного не допросила. Зато ей подсунули лжесвидетеля Трубицына, и его показания она аккуратно включила в дело. Ни одной бумажки, изъятой на обыске, к делу не приобщила, все, не раскрывая, не глядя, передала в КГБ — так сама и сказала. Нет, пожалуй, я был самым легким ее клиентом: ведь никакой ответственности, никакой личной инициативы, делай, что велят, и никто с тебя за это не спросит. А, между прочим, чем она рисковала, если бы проявила элементарную служебную добросовестность? Стоит эта Дежурная на низшей ступеньке служебной лестницы, на следующую не мечтает. И мается не от тряских дорог, а от непосильного для нее груза ответственности — не перед совестью, а перед начальством.

Не мне ее жалеть — руками этого ничтожества я оторван от семьи, от сына, брошен в тюрьму. Дальше меня подхватят другие такие же руки.

Меня поместили в роскошную камеру: тройник вместо общей, кровать вместо нар, постельные принадлежности — матрац, подушка, одеяло, наволочка, наматрасник. Тишина и покой. Два сокамерника от подъема до отбоя режутся в шахматы и домино, ко мне не вяжутся.

В тюрьме время скорее идет, если ходить по камере; на ходу лучше и думается. Но тройник тесный, ходить негде. Да скоро мне это и трудно, начались головокружения. Больше лежу, если есть что — читаю. Беда, что читать нечего. Из библиотеки выдают одну книжку на 10 дней, значит, нам на камеру — три книги. И не выберешь, сунет библиотекарша в кормушку 5—6 книжек, три мы себе оставим, остальные она заберет. Библиотекарша была вольная, сволочная баба, на просьбы дать выбрать или оставить лишнюю книжку отвечала примерно так: "Вас сюда не книжки читать посадили"; или: "Всем давать — не успеешь штаны надевать." Интересно, а что ответили бы высшие чины МВД — те, кто придумал это тюремное ограничение: одна книжка на 10 дней!

Три койки в камере размещены так: одна против двери, у подоконной стенки; две другие вдоль боковых стен, между ними узкий проход, едва-едва разойтись. Напротив меня — мой тезка, Анатолий, мужик лет 35-40, ленинградец (сам себя он называл не иначе, как питерцем: "мы, питерцы", "у нас в Питере"). Он уголовник, карманник, не без основания считает себя опытным лагерником: восемь судимостей! А я-то думал, что специальность карманника уже отмерла. Койку под окном занимает калужанин Игорь, он выдает себя за инженера — а может, и есть инженер, не берусь судить. В лагере он не бывал, а под судом, говорит, второй раз. В первый раз судили за то, что ударил милиционера (говорит, пьяного, а сам, мол, трезвый был). Осудили на два года, но сразу же амнистировали. Оказывается, у нас сейчас ежегодно объявляется специальная амнистия для малосрочников с обязательной отработкой назначенного срока на стройках народного хозяйства; одна такая амнистия была как раз при мне, в марте, и в Перми я попал в камеру этих "амнистированных" (их называют "химиками", потому что большинство едет на стройки Большой химии) — они ехали на место, как и я, по этапу.

Сейчас Игорь сидит по обвинению в домашней краже: будто бы украл у родственницы триста рублей. Он утверждает, что

не виноват, но в его рассказах концы с концами не сходятся. А может, и так, что спьяну взял деньги, спьяну спрятал их в пачку сигарет (где они и нашлись), а сам ничего этого не помнит. Грозит Игорю максимум три года, скорей всего снова амнистируют и отправят на "химию".

Сокамерники — мужики в общежитии не вредные, а это главное.

Вот только одно ...

Утром в кормушку подают три пайки хлеба. Одну мы каждый раз возвращаем, и ее уносят: в камере голодающий.

Но двое других принимают пищу.

Мои сокамерники завтракают в два приема. Первый завтрак — казенный черпак каши — съедает каждый у себя на койке. Примерно через час после этого устраивают второй завтрак из своих харчей. У питерца — продукты из ларька, калужанин Игорь к этому получает еще и передачи. Едят они вместе, делятся.

Единственную в камере табуретку ставят в проходе между двумя койками, моей и питерца. Тезка сидит у себя, а Игорь устраивается на моей койке, прямо около подушки (я в это время лежу на своем месте — некуда отойти, не на что сесть). На табуретке, буквально у меня под носом, раскладывают сало, колбасу, печенье, сахар и прочую дозволенную снедь. Чаевничают не торопясь, с трепом.

Еще демонстративнее они ужинают. Часов около пяти надзиратель забирает из камеры чайник — и мои сокамерники сразу же "накрывают стол" к чаю. Снова перед моим носом на табуретке раскладывают харчи, а сами они в ожидании кипятка болтают или слушают радио. Чайник с кипятком возвращается в камеру минут через сорок, а то и через час, и тогда снова начинается долгое чаепитие.

Часа через два после этого приносят казенный ужин — по миске супа. Часто мои сокамерники выливают суп в унитаз: не голодны. Зато перед самым отбоем снова пьют чай с "домашненьким", ритуал тот же.

Притом соседи не забывали и обо мне. Поначалу приглашали меня к своему столу (тезка, тертый лагерник, излагал свои взгляды на голодовку: пустая затея, с этим "они" сейчас не считаются, а себя угробишь). Поскольку я от приглашений отказывался, они перестали приставать. Зато стали втягивать,

меня в свои разговоры за чаем. Я не замечал у них ни малейшего смущения, никакой неловкости из-за того, что рядом с ними голодающий, а они тут же жрут сало и печенье (после суда, в другой камере, сосед вел себя совсем иначе: старался есть, когда я сплю или читаю; видно было, что созданная администрацией обстановка ему больше в тягость, чем мне).

Так вот, что это было: издевательство? Нарочно им велено было дразнить мой аппетит? Жестокий способ сорвать голодовку? Или же этим типам, моим соседям, все было, по-лагерному, "до лампочки"? Может, и так. А все равно полагается содержать голодающих отдельно, и обычно их, хоть не сразу, но изолируют. Надо сказать, что если был расчет сорвать голодовку или хоть поиздеваться, то он провалился. (А был, наверное. Даже раз прокурор закинул удочку: "Ваша жена жалуется, что вас, голодающего, держат вместе с другими. Анатолий Тихонович, вас что, раздражает, когда они едят?" — вопрос на второй месяц голодовки!) Ни вид, ни запах пищи, ни чавканье жующих ртов не возбуждали у меня чувство голода. Все 54 дня голодовки мне не хотелось есть, и я ни разу не глотал слюнки, глядя на поедаемое рядом сало или печенье. К своему собственному удивлению, сокамерники вообще не вызывали у меня раздражения — ни бесконечными шахматами, ни дурацкими пустыми разговорами, ни демонстративной жратвой. Раньше бывало иначе, и я теперь думал: видно, старость на подходе, вот я и стал терпимее. Но вскоре после того, как я снял голодовку, я заметил, что меня, как и в былые времена, сокамерники нередко раздражают.

Только однажды я позавидовал еде моих соседей: на обед ко второму им дали по соленому огурцу. Не то, чтоб они возбуждали у меня аппетит, чтоб мне вообще захотелось есть; нет, вот именно огурца захотелось. Казалось, я слышу, как зубы соседей с хрустом прокусывают кожицу; я ощущал во рту намек на вкус соленого огурца, его аромат, и это дразнило меня невероятно. Но слюну глотать и тут не пришлось: ее просто не было. Рот сводило от сухости, губы потрескались, и я с них скусывал или снимал пальцами полоски сухой кожи. Часто пил — утром, даже нехотя, несколько глотков воды непременно.

А огурцы, видно, были неважные, мои сокамерники их и есть не стали: откусили по разу, и огурцы полетели в урну.

У них часто и куски хлеба отправлялись туда же. Интересно: нарочно, мне на показ? Может, в обед кинут пару кусков, а утром, опорожня урну, проверяют, все ли на месте? Но, честное слово, есть не хотелось — ни в первые три, ни в первые пять дней (приходилось слышать, что они самые трудные), ни в последнюю неделю, ни в последний день голодовки.

Вообще я не могу сказать, чтобы в какой-то период голодовки мои ощущения были особыми, иными, чем в предыдущие или последующие дни. Я не замечал никакой разницы между началом голодовки и ее серединой, хотя это очевидная чушь: первый-то день какая же голодовка? Наверное, каждому случалось не есть и по дню, и по два. Слабость накапливается постепенно и прибывает незаметно день ото дня, так что сегодня чувствуешь себя так же, как вчера, завтра — как сегодня. Конечно, у разных людей ощущения будут разные, может, кто-то другой точнее фиксирует изменения в своем состоянии и сумел бы определить переломные точки. Я же делю свою голодовку на три этапа по чисто внешним приметам: первый — восемь дней до начала насильственного кормления; второй — тридцать семь дней, когда мне насильно вводили пищу; третий — последние восемь дней голодовки, в этапе, вновь без какого-либо питания.

4 марта. *Начальник тюрьмы.* Калужская тюрьма, в которую меня посадили, называется совсем не "тюрьма", а СИЗО — следственный изолятор № 1. Название голубиное, но, конечно, тюрьма как тюрьма — с боксами, зарешеченными окнами в "намордниках" и всем прочим, что в тюрьме полагается. Однако не без примет века НТР и дизайна: массивные ворота раздвигаются нажатием кнопки, особенно радикально переоборудована комната для свиданий: она перегорожена и разгорожена на клетки сплошным листовым стеклом, кабины снабжены переговорными устройствами (небось, и с подслушивающим аппаратом? Не валютой ли за все это плачено? Или уже сами научились?). Незабываемо-сильное впечатление: когда из переговорной трубки до тебя вместо родного голоса доносится какое-то кваканье, чувствуешь себя прямо-таки в светлом будущем.

Проводник всех этих тюремных новшеств — конечно же,

сам начальник. Это заметно уже на подступах к его кабинету: вместо унылой серо-бурой масляной краски, стены лестничной клетки выложены декоративным кафелем без какой-либо казенной симметрии, а как в современном молодежном кафе. Кабинет выглядит более строго: полированные панели темного дерева, большие светлые окна, слева от письменного стола мигает разноцветными огоньками пульт управления с телефонными трубками и микрофонами. Хозяин кабинета — молодой майор, гладко причесанный, свежесбритый, в меру плотный, в меру деловитый, в меру любезный. На лацкане его кителя — голубой вузовский ромбик (может, академия МВД, может, юридический институт, а может, и университет, я не знаю).

Надзиратель, который привел меня, испарился, и в кабинете остались двое: з/к Марченко и начальник тюрьмы.

Я не просился к нему на прием, он сам меня вызвал — сейчас узнаю, зачем. Впрочем, я был намерен держаться в соответствии с избранной позицией, т.е. не отвечать на вопросы, не вступать в беседу. Но это не получилось. Майор сразу же взял тон беседы "на равных", свободной беседы людей, отстаивающих каждый свою точку зрения, — и я не устоял, вступил в дискуссию, прекрасно понимая ее бессмысленность. Собеседник казался таким искренним и к тому же так живо сочувствовал мне, готов был понять меня. А в ответ, конечно, ожидалось мое понимание, уважение — и соответствующее мое поведение; но это ожидание не било в нос, не перло наружу. Майор излагал мне свою систему взглядов, из которой само собой логически выводилось, что я веду себя неразумно и неправильно, что в моем положении есть другие пути и выходы.

Конечно, это дикость — не пустить человека встретить мать, навестить ребенка; этому нет оправдания. Он сам, мой собеседник, поступил бы на моем месте так же, как я.

— В такой огромной и многонациональной стране, как наша, неувидительны случаи нарушения законности. Но согласитесь, Анатолий Тихонович, это же исключения! Очень редкие! И с ними борьба идет — через печать, через органы контроля.

Вот, оказывается, чем мне надо заняться: писать, писать, жаловаться во все инстанции — законность восторжествует, если, конечно, дело обстоит так, как я рассказываю. Зачем же

на дикость отвечать дикостью, самоистязанием? ...

Я вглядывался в собеседника — в выражении его лица, в его тоне не было видно фальши, лицемерия, корыстного расчета. Передо мной сидел честный советский человек, верящий и знающий, что с произволом в нашей стране покончено навсегда. Вот он, начальник тюрьмы, может оставаться самим собой — честным, порядочным, интеллигентным, и все обстоятельства этому содействуют, а не мешают. Сама служба такая, что прежде всего требует честности...

— Анатолий Тихонович, с вами, видимо, допущена ошибка, но ваша неправильная позиция ее лишь усугубляет, а можно исправить.

Ведь не докажешь, что ошибки как раз нет, что задумана и осуществлена расправа, и закон тут — только дырявая ширма, где через дырки просвечивают руки, дергающие за ниточки кукол-исполнителей. Кому же и на кого жаловаться?

— По-вашему, Анатолий Тихонович, так вы один порядочный и принципиальный человек, а остальные 240 миллионов — все трусливые марионетки. Но это неправда! У меня, например, один наивысший приказ — закон, а наш закон не противоречит самой человеческой морали; наоборот, — он перебирает на столе брошюры, инструкции, как бы демонстрируя мне абсолютную регламентированность своего поведения.

Хоть я и не собирался жаловаться, но тут снова не удержался:

— Ладно, не будем обсуждать сами законы. Но вот меня тут у вас избили — это вроде бы не разрешено вашими правилами. И не за буйство, не за драку ... Неподчинение распоряжениям, кажется, должно наказываться иначе? А то — вот я вам не доложил, войдя, а вы бы меня за это в морду. А "Правила" висят на стенке в камере и никак меня от такого произвола не ограждают.

Начальник тюрьмы не закричал: Это ложь! Он и не спешил с показным возмущением: Да как они посмели! Он деловито записал, когда избили, за что и как.

— Но я не хочу никакого расследования, никакого возмездия. Это не жалоба, я сказал для примера...

— Нет, нет! Мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Сегодня же я проверю, и если все подтвердится, виновные будут наказаны.

(Это толстый старшина подтвердит, что бил меня ключом? Офицер сознается? И между прочим, непохоже, чтобы для повстречавшегося нам майора эта сценка была в диковинку).

Вот спрашивается: какого черта я вступаю в такие беседы? Ведь я знаю: искренним или фальшивым выглядит собеседник, тактичен он или хам, заводится с полоборота или проявляет терпимость, — все равно все это ложь, ложь и лицемерие. Сегодня он со мной через стол беседует, а завтра — прикажут — накидает полный карцер таких, как я, своими руками передушит (а иной, держа нос по ветру, и без приказа проявит инициативу снизу). Вот именно "система взглядов", не сформированная самостоятельно, а запрограммированная в него в готовом виде, превращает человека в автомат: сменяет пластинку — и на выходе получают другие поступки. О чем же с ним спорить? А главное — ничего себе разговор "на равных" тюремщика и арестанта! Но в эти полтора - два часа я не чувствую разницы положений — неужели покупаюсь на это мнимое равенство?

Ну, а он, этот майор? Вызвал меня по поводу голодовки и дактилоскопии, а занесло куда: и про законность, и про эмиграцию, и в психологию ударился ... Ведь не надеялся же он таким вот образом сразу обратить меня в свою веру, образумить. Думаю, что нет, он же не дурак. Наш разговор мог быть коротким, но этот деловой и, наверное, занятой человек битых два часа со мной языком трепал. Может, ему поговорить не с кем? Между прочим, какие у него могут быть знакомые? Коллеги? Но среди них столько тупиц, с кем только водку пить, а не разговаривать. А со стороны знакомые — представляю себе: "Это Люсин муж, он (шопотом) начальник тюрьмы"... Вряд ли калужская интеллигенция обрадуется такой компании. Значит, знакомые только из "своих". Но перед ними что же речи толкать про законность, смешно даже.

Вероятно, я для него — вроде боксерской груши: отточить аргументацию, а может, и самоутвердиться.

Но, может, и я втягиваюсь в дискуссию по той же причине? Лариса потом говорила мне, что этот майор с первого раза был ей отвратителен, что уже от порога понесло на нее показухой и фальшью. А я-то после этой "дружеской" беседы почти поверил, что видел белую ворону, и в моей стройной картине мироздания (с основным тезисом "на собачьей должности —

— собака”) чуть было не образовалась брешь. Но пришлось арестанту Марченко и начальнику тюрьмы общаться и на формально-деловой почве...

7 марта. *Медицина.* Я был голодающий, и это обеспечило мне тесные контакты с медперсоналом во все время пребывания в Калуге. До начала насильственного кормления меня несколько раз вызывали в медкабинет, осматривали, мерили давление, температуру. За 45 дней несколько раз брали кровь на анализ. Я в медчасть не обращался (кроме одного раза, незадолго до суда), но от обследования не отказывался. Я только сказал врачу, что не буду сообщать о своем состоянии, связанном с голодовкой; если надо — пусть сами исследуют, сами применяют свои меры.

Врач, немолодая, приятная в обращении женщина, была возмущена: Медицина никакого отношения не имеет к вашим неприятностям, мы здесь затем, чтобы помогать людям, ваш протест в данном случае направлен не по адресу.

— Да я и не имею ничего ни против медицины, ни против вас лично.

— Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь от контактов с нами?

Этого я не мог объяснить; не знаю, сумею ли сейчас вразумительно объяснить свое поведение. Оно, действительно, никак не было связано с моим отношением к медицине, даже тюремной.

Голодовка — так голодовка. Я отказываюсь принимать пищу, так и насильственное кормление будет действительно насильственным, добровольно я для этого из камеры не выйду.

И вот на меня надевают снова наручники и волокут (без битья) в медкабинет. Там врач, сестры, со мной вошли четыре надзирателя и офицер. Кабинет — такая же камера-тройник — полон народу. Все убеждают меня просто выпить питательную смесь:

— Все голодающие у нас так делают, отказываются от шланга. Голодовка все равно считается. Зачем вы нас вынуждаете применять силу?

Весь этот спектакль каждый раз вызывал у меня дурацкое ощущение. Я никак не мог определить для себя, где, в какой точке мой отказ от добровольного подчинения перестает быть протестом, становится просто ослиным упрямством

(„Хохол упрямый”, — говорит обо мне жена).

Вот на 9-й день голодовки мне предлагают ”по-хорошему” выпить свою пайку голодающего (да ведь насколько это легче! все равно же загонят через шланг). Нет, не выпью. Меня корпусной каждый день уговаривает взять пайку, так уж лучше сдать и снять голодовку, чем пить из кастрюльки питательную смесь.

Пойдешь сам принимать искусственное питание? Иди ”по-хорошему”! Не пойдешь — потащат. Не выпьешь смесь — выльют через шланг. Не откроешь сам рот — разомкнут расширителем.

Я отказываюсь от пищи, этим я поставил под вопрос свое здоровье, а может, и жизнь. Как же, зачем же я смирнехонько и с готовностью открою рот для шланга со смесью? Конечно, я знаю, всех голодающих кормят. Но согласиться с этим для себя я не мог. Раз уж решил голодать, то на кой черт мне вообще любая кормежка?

Вот я и сопротивлялся, как мог. Но ведь я был абсолютно уверен, что со мной здесь справятся.

Потом идут вообще какие-то дурацкие мелочи: добровольно сядешь на стул или чтоб тебя пригвоздили к нему чужие руки? Пустяк, да? Мне и в этом противно было подчиниться. И подвергаться насилию тоже противно.

Вот ты уже брошен на стул. Восемь или десять рук тебя буквально сжали тисками, нет, не тисками, а мощными щупальцами скрутили, опутали твое слабое тело. Открой рот! Не то его сейчас вскроют, как консервную банку.

Я отказался. Тогда сзади кто-то, охватив меня локтем за шею, стал сжимать ее, еще чьи-то руки с силой нажимают на щеки, кто-то ладонью закрывает ноздри и задирает нос вверх.

Слава Богу, врач велит освободить мне шею. Подступают с роторасширителем. (Концы его, мне видно, обмотаны бинтом — чтоб не оцарапать губы, десны. В Ашхабаде обходились без этого!) Нос зажат — придется же мне когда-нибудь открыть рот, чтобы вдохнуть воздух. Разжав губы, втягиваю глоток воздуха через стиснутые зубы. Сразу же по ним забежал расширитель, отыскивая щелку. Давят на зубы, на десны — больно!

— Марченко, откройте рот, зачем вы доводите всех нас до озлобления?!

Роторасширитель кочует из рук надзирателя в руки вра-

ча. В конце концов его откладывают. Конечно, могли бы забить его в рот, но с риском покрошить зубы. А предстоит суд. Или, может, мои зубы пожалели?

— Будем вводить пищу через нос.

За волосы задирают мне голову вверх, приводят ее в покойное положение, фиксируют. Я по-прежнему весь скован так, что не могу шевельнуться. Врач довольно легко вводит мне в левую ноздрю тоненький катетр, и через него огромным шприцем вгоняют питательную смесь. Вогнали несколько шприцев. Слава Богу, кормление кончено. Меня отпустили. Но раньше, чем отправить в камеру, велели полежать на топчане. Нет, не для того, чтобы отдышался, а чтобы не вызвал в камере рвоту. Тут уж меня не мучили проблемы: лечь добровольно или нет? Лег.

На другой день кормежки не было, и я радовался: авось, это истязание будет не ежедневно. Но зря радовался. Просто 8-го марта медчасть, видно, вся отдыхала — праздник. А с девятого стали кормить каждый день. Теперь уже и не пытались кормить через рот, а сразу заталкивали шланг в ноздрю. Не тот, что в первый раз, а втрое, вчетверо толще. Когда с ним подошли ко мне, у меня глаза на лоб полезли; я и потом не мог сам себе поверить, чтобы такая толстая кишка могла войти в человеческую ноздрю. Когда шланг проник в носовую полость и его стали проталкивать в носоглотку, мне казалось, я чувствую, как он раздвигает хрящи, причиняя страшную боль. Не знаю, смазали ли его хоть вазелином (в дальнейшем когда смазывали, а когда нет — какая сестра), но по носовой полости и носоглотке будто наждаком прошли или рашпилем. Боль была невыносимой, слезы текли ручьем, и я не мог их удержать. Смесь теперь не загоняли шприцем, а вливали через воронку, мне было видно ее через стекло: бордовая, довольно густая. Она убывает медленно, а из кастрюли еще подливают. Когда это кончится! Иногда, видимо, попадались комки, они застревали в шланге, и сестра начинала подергивать шланг, чтобы их вытрясти: то чуть вытащит, то снова засунет глубже. Адская боль! А если это не помогает, то шланг слегка подтягивают и пальцами прогоняют по нему смесь, выжимая застрявшие сгустки.

И потом снова такая же боль, когда вытаскивают. И позывы на рвоту. Подо ртом держат полотенце, чтобы, если вырвет, не залило бы всех вокруг.

Когда эта процедура оканчивалась, я ободрялся, в хорошем настроении возвращался в камеру: до следующей кормежки целых 24 часа! А в камере скоро начинал отсчитывать часы до следующей пытки. С какого-то раза я перестал сопротивляться, когда меня вели в медкабинет, шел сам, сам садился на стул, не противился самой процедуре, и мою голову держали лишь потому, что иначе невозможно. Подчинился неизбежности пытки. Но пищу мне вводили только шлангом через нос.

Кроме искусственного питания, мне пытались делать уколы, а я сопротивлялся и этому. Дважды врач предлагала мне уколы (внутривенно и подкожно, вероятно, глюкозу и что-нибудь для поддержания сердца; арестанту ведь не говорят, что ему назначают, какие таблетки дают), и оба раза я отказывался. И тогда повторялось то же, что и с кормежкой: надевали наручники, заламывали руки, выворачивали ноги, давили пальцами за ушами, чтобы я ослабил от боли сопротивление. Я же противился изо всех сил и, пригвожденный к топчану в полной неподвижности, передергивал кожей и мышцами, чтобы не дать ввести иглу. В последний раз, за день до отправки, кончилось тем, что на меня надели какой-то особый наручник. Он сразу сжал мне запястье так, что руку от пальцев до плеча свело судорогой, как от удара током. Кажется, на секунду я потерял сознание. Внутривенное вливание так и не сделали, а подкожное, наверное, сделали, я не знаю, не чувствовал. После этого от боли в руке я не мог ночью спать, ни лежа, ни на ногах не мог найти удобное для руки положение, чтобы она не ныла. До сих пор руки ноют в плечах постоянно, а пальцы немеют; это мешает мне работать. И все ради того, чтобы не дать сделать укол!

— Как это дико! — негодовала врачиха. — Мы вам жизнь спасаем, а вы до чего нас всех доводите!

Я, пожалуй, согласен, что вел себя по-дикарски, по-варварски. Что оставалось делать врачу? Только применить насилие. Сколько-то времени голодающий продержится без поддержки, но рано или поздно, если не снимет голодовку, то непременно умрет. Я держал в тюрьме голодовку 45 дней — так меня же кормили! Эта самая врачиха — меня мучила, сама мучилась, а кормила! В этапе, без поддержки, я через восемь дней снял голодовку. А не то умер бы — но умереть можно и менее мучительным, более быстрым способом.

Конечно, я сам заставил применять к себе силу. Я, правда, не могу поверить, что нужно было такое насилие, такая мера мучительства (притягивать затылок к спине, пока в глазах не потемнеет; или — одна рука прикована к стулу наручником, другая сзади перекинута через спинку стула, пропущена под ней изнутри, и надзиратель вытягивает ее за кисть кверху, одновременно заламывая назад, чуть не узлом завязывает; боль адская, а зачем?). Пусть надзиратели теряют чувство меры, зверея от моего сопротивления; и я озлобляюсь. Но за этим наблюдает майор — заместитель начальника тюрьмы. И врач.

Не верю, что четыре—пять здоровенных надзирателей не могут справиться со мной (уже порядком истощенным и слабым), не применяя пыток. Делают же уколы барахтающимся и вырывающимся пятилеткам — обычно одна сестра с этим справляется, не доводя ребенка до шока. Я не ребенок, но четыре мужика могли бы меня удержать полминутки.

Но врач тоже может озлобиться, и не мне быть в претензии, раз я сам ее до этого довел. В итоге-то — она же оказывала мне помощь, выполняла свой профессиональный долг ...

Хорошо. А как обстоит дело с врачебным долгом, когда она отправляет голодающего в этап? На сорок пятый день голодовки, в общий этап! "Какой ты голодающий! — сказал мне офицер в одной этапной тюрьме. — Тут что-то не так. Был бы голодающий — тебя если б уж этапировали, так в сопровождении фельдшера или медсестры." Больше месяца меня швыряли из вагонзакла в общую камеру (ни сесть, ни лечь; медсестры не дозовешься) и обратно. И в такую дорогу врач отправляет голодающего! В ее воле, в ее полной власти было запретить этапирование общим порядком. Нет: "хочет — пусть подышает"; так что же она мне голову морочила своими причитаниями о гуманной профессии! "Мы вам жизнь спасаем," — да, чтобы ты не у нас подох. Для этого насильно заливали еду — чтобы успеть столкнуть в этап даже без пометки о голодовке. Уколом с этим проклятым "шоковым" наручником жизнь спасали? Как бы не так: себя страховали, чтобы в случае моей смерти на этапе оправдаться бумажками: давление было в норме, сердечная деятельность в норме, кровь хорошая...

"Как это дико!" — да, дико; а вы хотели бы, чтобы все выглядело приличненько, культурненько: гуманный врач,

благодарный арестант — а под конец пихнуть меня под зад коленкой к могиле?

Настоящая голодовка — вообще дикость, варварство, как и всякое самоистязание. Мирно проходит кормление или с боем, по правилам науки или без — все равно дикость. Решаешься на это, когда чувствуешь, что ничего другого тебе не остается.

Я отсчитывал день за днем, размышляя, сколько же будет тянуться следствие. Собственно, следствие замерло, Дежурная не появлялась, я отсиживал просто так. Было абсолютно ясно, что, во-первых, расследовать в моем деле нечего, во-вторых, не Дежурная им занимается (раз уж она даже не знает, что изъела на обыске) — т.е. не расследованием, а подбором бумажек для предстоящего спектакля. Но сколько же на это надо времени? От силы несколько дней, а идут недели. Значит, что-то со мной не решено еще. А вдруг решится не наилучшим образом — но как? У меня мелькало предположение о ссылке, но я не мог себе представить, какие же мотивы выдвинут для "смягчения" приговора такому закоренелому преступнику, как я: пятая судимость! И кто эти мотивы подкинет суду? Не я — еще не хватало! Адвоката у меня, я заранее решил, не будет. Кому же может быть уготована эта роль? В общем, предположение о ссылке я отверг.

А может, наоборот, вместо нарушения надзора мне предъявят что-то посерьезнее, как обещали в КГБ. Тогда следствие придется считать не неделями — месяцами. А срок — многими годами.

Между тем, тюремное начальство обо мне не забывало. Задушевных бесед больше не было, а просто настаивали, чтобы я снял голодовку: голодовка у нас вообще "не считается" (т.е. с ней не считаются; это я и сам знаю), она есть грубейшее нарушение режима и только. В одну эту дудку на разные голоса дудели и начальник тюрьмы, и прокурор, и врач, и мой сокамерник.

Силы убывали незаметно для меня самого. Постоянно кружилась голова (но это было и до голодовки — из-за отита). Начались кишечные кровотечения (тоже случались и раньше; авось, пройдут). Трудно стало ходить, особенно по лестнице.

Как-то я заметил, что кожа на теле зудит как бы от укусов.

Почесываюсь. Зудит! Как лягу на постель — зудит! Сначала я и мысли худой не допускал: вши или клопы — и автоматика, керамика, пульт управления... Быть не может. Но — зудит! Лезу в на матрасник, ищу — она, голубушка, тюремная вошь. Есть такое суеверие, что вши сами собой заводятся, когда смерть близко. Неужто я уж так дошел, сам того не заметив?

— Игорь, смотри...

— Что, вошь? Да их тут полно в постелях. Во всех камерах.

Все же вызываем сестру, говорим ей. Она нисколько не удивилась. Правда, тут же нас повели в баню, все барахло в прожарку, постели забрали, выдали другие. Приходим из бани. Ложусь — зудит. Вошь! Что за черт, и прожарка не берет!

— Ну да, не берет! — говорит Игорь. — Просто вошь теперь хитрая, зачем ей в прожарку лезть? Она в каптерке отсиживается, пока мы в бане моемся. Проведет передислокацию со сданных одеял на свежие — и снова в камеру, в родной дом. Это же давешние знакомые, не узнаешь в лицо?...

В конце месяца мое "дело" закончено.

Вот это да! В него включены материалы из КГБ: предостережение, передачи западного радио цитируются, донос петрищевского лесничего подшит. И все это к нарушению надзора! Тем лучше, я смогу оперировать не догадками, а фактами, что дело не милицейское, а гебешное. Я решил в судебном разбирательстве не участвовать, но последнее слово скажу. Главное в нем будет, что этот суд — расправа за мои взгляды, за выступления; и о рабстве, крепостничестве в СССР. Материалов для этого хватает в самом "деле".

Я потому и от защитника решил отказаться, чтобы это меня не сковывало в последнем слове. Конечно, для судей это облегчение: защитника не будет, сам не защищаюсь — бей лежащего! Мы с Ларисой загодя договорились обоим ходатайствовать, чтобы ей защищать меня на суде. Если бы разрешили, судьям можно не позавидовать. У нее логика бронебойная, так что от кое-как сляпанных юридических декораций остались бы одни клочья. Но ведь не допустят ее, в этом можно не сомневаться. Может, стоило бы все-таки пригласить адвоката? А, все равно — исход предрешен, нечего людей втравливать в неприятности.

Вскоре мне вручили обвинительное заключение. Обычно, как просветили меня сокамерники, одновременно сообщают, когда будет суд. Мне же почему-то не сказали. Думаю, что скоро. И я начинаю готовиться. Хотя что готовиться? Готовлю последнее слово, а чтоб не отобрали, пишу на обороте казенного обвинительного заключения. Его отнять не имеют права.

31 марта. Утром меня вызывают из камеры. Надзиратель велит надеть телогрейку — значит, на улицу. Куда же — снова к начальнику? Может, в тюремную больницу? Или на псих-экспертизу повезут? На суд! — мелькает в уме, и я быстренько собираю свои записи, кладу в карман обвинилровку. "Никаких бумаг!" — командует надзиратель и, выхватив у меня из кармана листки, швыряет их на кровать.

По дороге пробую узнать, куда же меня ведут.

— Не разговаривать!

Надзиратели сдают меня милицейскому конвою. Эти велют раздеться догола, просматривают, прощупывают всю одежду, отбирают все бумажки, какие еще там есть, — и с записями, и пустые.

— Куда везете?

— Не разговаривать! Привезем — увидишь.

Конечно, на суд. Вот гады — мало что не предупредили, еще и все бумаги отобрали. Даже обвинительное заключение, а я-то, дурак, рассчитывал: "не имеют права"...

Может, от тряски в воронке, или от волнения, или же от злости — закололо сердце, и слабость охватила, начало знобить. Когда выгрузили из воронка, я еле на ногах держался.

— Руки назад!

Я не подчинился, и меня моментально заковали в наручники. Так и привели в зал, идиоты! А здесь хотели снять наручники потихоньку, за барьером — вряд ли их кто заметил, пока вели. Но я нарочно поднял руки выше барьера: уже коли заковываете, так публики нечего стесняться, пусть знают, как нашего брата водят.

Мне пришлось сразу сесть: ноги не держали. Обернувшись, я стал рассматривать публику. Много знакомых, друзей из Москвы, улыбаются мне; как приятно их видеть! Я никак не думал, что столько народу приедет. Ведь от Москвы до Калуги ехать около четырех часов, когда же им пришлось из дому вый-

ти? И несколько человек из Тарусы в зале. Лариса здесь, а с кем Пашка? Наверное, с Иосифом Ароновичем — достается деду хлопот из-за меня...

Но вот: "Суд идет, прошу встать!" — Я не встал.

Спектакль начался. Не буду его описывать. Я видел самиздатский сборник об этом суде "Именем Российской советской федеративной социалистической республики"; по-моему, там все подробно и точно рассказано, добавить мне нечего. Поэтому я попытаюсь передать лишь свои ощущения на суде. Они связаны с избранной мною позицией неучастия в разбирательстве.

Я давно уже слышал от юристов, что подсудимому трудно удержаться на этой точке и мало кто удерживается. Это правда, что трудно: несут о тебе всякую чушь, а ты молчишь. Вот моя начальница сообщает, будто бы я сказал ей: "Может, и поеду в Москву на праздники." А я сказал ей другое: "Успокойте милицию, никуда не поеду, буду в Тарусе." Так и подмывает напомнить ей, да она и сама, конечно, помнит. Но на стандартное предложение судьи задать вопросы свидетелю я повторяю, что отказываюсь участвовать в суде.

Вот тарусский милиционер Кузиков заявляет, что видел, как я уезжал из Тарусы автобусом; врет, врет, даже глаза отводит. Я бы его спросил... Мысленно уличаю Кузикова, а вслух снова говорю судье: "Не участвую."

Московский участковый Трубицын со своей карикатурной квадратной рожей, с глазами навывкате сплел целую повесть: "В таком-то часу провел инструктаж... Попил чайку... Поздравил Марченко с праздником..." Врет, врет, поздравил бы он, как же! Да его от одного моего взгляда в сторону сносило, он моей жене жаловался: "Что это ваш муж на меня волком смотрит?" Я оборачиваюсь, переглядываюсь с Ларисой. Она, наверное, как и я, вспоминает сейчас наш спор о Трубицыне. Она меня упрекала, что зря я в каждом чиновнике вижу врага, что Трубицын мужик добродушный, дурного не делает, до пенсии дорабатывает, без особого рвения выполняет свои милицейские функции. Я же стоял на своем: этот добродушный пучеглазый толстяк — прикажут, и всех нас троих живьем в землю зароет. Вот, пожалуйста, полюбуйся: щеки надувает, красуется, а ведь знает, что его ложь обойдется мне в два лагерных года... Лариса смущенно мне улыбается: мол, ты был прав.

— Не участвую.

Но как же трудно не участвовать, когда они один за другим выходят и лгут! Их легко уличить, я потребовал бы вызова свидетелей, пять человек покажут, что я не...

Что "не"?

Не ехал тогда в автобусе! Позвольте, а если б ехал? Пытался его угнать? Поджег Тарусу и сбежал? Бросил свой ответственный пост? Наконец, сел в автобус без билета? Да нет же, только это: "Сел в автобус и поехал."

Что там такое врет про меня Трубицын, главный свидетель обвинения? "Видал, как Марченко с женой и ребенком гулял во дворе... Открывал дверь своей квартиры..."

— *Не* гулял! *Не* входил в свой дом! А если б входил?!

Что, я украл ребенка, меня судят за киднаппинг? Вломился в чужое жилье с целью грабежа? Или же буянил, сквернословил во дворе? Может, хоть пьян был в светлый праздник Октября?

Нет, гулял со своим ребенком, входил в свою квартиру — и это весь криминал. Потолок.

Что же они не подучили Трубицына соврать чуть больше? — Ну, пусть я матом его покрыл, что ли!

А зачем? Этого *нэ трэба*, сказанного довольно. Гулял со своим ребенком, вошел к себе в дом — этого довольно, чтобы уже месяц держать меня в тюрьме, водить в наручниках. Месяц следователь докапывается (предположим, что ведется следствие), было ли совершено это страшное преступление. Из-за этого я 33 дня голодаю. Из-за этого старик-тесть мается с двухлетним внуком в присудебном скверике: что дадут? может, скинут? Из-за этого двадцать моих друзей сидят в калужском суде — он и во сне им не снился! — с лицами, сведенными болью за меня. Вот сейчас это же обстоятельство как главный состав преступления обеспечит мне два года за проволокой! — А не води сына за ручку! Там не погуляешь!

И как особая милость, нежданная, с неба свалившаяся, — 4 года ссылки в Сибирь.

Четыре года ссылки в Сибирь — за то, что сего числа гулял со своим ребенком во дворе своего дома.

К тому же этого не было.

— Послушайте, это же сумасшедший дом!

— Нет, — отвечает Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. — Таков один из наших традиционных национальных обрядов.

Ваших обрядов! *Вашей* нации — советских коммунистов!
Не моей!

”Я обращаюсь ко всем людям во всем мире и прошу всех, кто может, помочь мне и моей жене с сыном эмигрировать в США. Я продолжаю голодовку”... (мое последнее слово).

Суд и две поездки в воронке — туда и обратно — вымотали меня совершенно. Оказывается, сил осталось меньше, чем я думал. А предстоит этап! Как же меня будут этапировать? Раскошелятся на спецконвой? Или поместят в больницу, пока не сниму голодовку? Тогда Бог весть на сколько отодвинется встреча с семьей.

На суде меня просто обожгло заявление Татьяны Сергеевны о голодовке солидарности. Сам мучаюсь, да еще втянул в тот же водоворот другого человека. Я понимал ее отчаянный порыв, но не мог с ним согласиться: разве можно связывать друг друга круговой порукой? Что же мне теперь делать? (Через дней десять мне передали очень теплое, трогательное письмо от Татьяны Сергеевны. Она писала: ”Не думайте, ради Бога, что вся причина только в Вашем поведении. Отнюдь нет... Поймите и безвыходность моего положения, как я понимаю безвыходность Вашего. Не сердитесь и не переживайте за меня...” Успокоило меня вот это место: ”Как только Вы тронетесь в путь..., я эту ситуацию изменю,” — значит, снимет голодовку и, надо надеяться, скоро. Слава Богу, теперь я мог независимо, сам определять свои сроки.)

Ведя меня на кормежку, надзиратель сказал:

— Что же ты голодовку не снимаешь? Ведь ссылка!

Снятия голодовки ждали и все остальные: добился же ссылки. Тюремщики, видимо, этому изумлялись. Ведь голодовка ”не считается”, голодовка есть нарушение режима, а вот же добился человек скидки, и какой! Ему бы по судимостям и по строптивости *в полосатики*, а вместо этого ссылка! ”На свободу едешь.”

Но как же на самом деле быть теперь с голодовкой? Сил уже мало, и вроде бы исчерпался ее смысл.

Обычно голодовка объявляется в поддержку какого-либо требования. Она как бы подчеркивает важность и серьезность

этого требования, готовность добиваться его любой ценой, ценой жизни. Ее пытаются держать вплоть до удовлетворения требования, но у нас это практически безнадежно, и все это знают. Хорошо, если удастся добиться чисто символического компромисса; и то редкость. Так что голодовкой скорее надеются привлечь внимание к проблеме, взывают о сочувствии и поддержке. Прислушайтесь к этим призывам, гуманисты Запада! Ведь люди кладут на это здоровье, рискуют жизнью, где же ваш отклик?

Моя голодовка не связана с какими-либо требованиями, это протест. Я думаю, протест политический. Началом этой акции правильно будет считать не 26 февраля — начало голодовки, а 11 октября, день, когда я заявил, что отвергаю надзор и на арест отвечу голодовкой. Этим я не требовал своего освобождения от ответственности перед законом. Закон обернулся против меня дубиной в руках бандита; о чем же мне бандита просить, а тем более чего я мог требовать? Мой протест был реакцией на насилие, и чем грубее это насилие, тем более крайние формы приобретает протест.

Приходилось слышать, что голодовка (или другое самоистязание) как форма протеста — метод уголовников; политзаключенные же голодают, выдвигая какие-либо требования. Я с этим не согласен. Уголовник себя калечит и в знак "протеста" (например, отрезает себе ухо и накалывает на нем: "В подарок съезду КПСС"), и тоже чего-то требуя: "Начальник, не дашь чаю — смертельная голодовка!" Все дело в том, чего ты требуешь, против чего протестуешь; этим определяется, политический ты, или урка, или просто дурак.

Хотя я и не заявлял никакого требования, но, признаться, допускал — скажем, один шанс против ста, — что в результате огласки меня могут и не посадить: дело-то уж очень позорное для властей, авось, постесняются. Я был бы рад такому исходу. Решение эмигрировать могло, считал я, подкрепить мой шанс: ведь вся карусель с надзором и все последующее — все это было заверчено для того, чтобы заставить нашу семью уехать из страны.

Я хочу объяснить свои поступки до точки (там, где я в состоянии это сделать) и надеюсь, что читатель мне поверит. Поэтому повторю еще раз: заявлением об эмиграции я надеялся повлиять на мою судьбу и судьбу моей семьи. А голодовка

была предпринята без такого расчета*, хотя я и допускал, что она *может* оказать на мою судьбу влияние, привлекая к моему делу внимание мировой общественности.

Однако нельзя протестовать до бесконечности. Естественный предел — это когда кончились силы. После суда силы у меня еще были, хотя и близились к концу. Но существует и другая граница — это когда обстоятельства вроде бы переменились (насилие продолжается), но как-то стабилизировались, когда кончился момент борьбы; этим пределом, вероятно, должен был стать суд. Продолжать голодовку — значит теперь привлекать внимание к себе, к своей персоне, а не к сути дела. Пора снимать.

Но я не мог это сделать. Получается, будто я этого и добивался — смягчения участи. Если б дали лагерь — может, и спял бы. А после "легкого" приговора — не мог.

Ну, а насчет мягкости приговора, так это еще как сказать. Конечно, радостно вскоре увидеть семью, жить без коновоя за спиной. Ссылка — не лагерь. Но что получается? Я отверг надзор, отделявший меня от семьи непреодолимым барьером длиной в 200 км. Взамен же получил — еще более грубо, еще более произвольно — такой же барьер, только в четыре тысячи километров. Там сроку оставалось полгода (впрочем, продлили бы; или все равно сфабриковали бы "нарушение"), а теперь — три с лишком. Чему же радоваться? Как чему? "А ведь мог убить" (это из анекдота).

Сибирская ссылка изолирует меня от родных и друзей чуть ли не надежнее, чем колючая проволока, чем даже государственная граница: корреспонденцию проверяют (вопреки закону), а доберись-ка в такую даль — времени, денег не напасешься. Изолирует не меня одного, а и жену, если она поедет ко мне (на то, видно, был расчет). Наконец, в ссылке можно не хуже, чем в лагере, организовать против меня новое дело: в сибирском поселке найдется сто Кузиковых и Трубицыных, а суд пройдет глухо, ведь Сибирь — не Калуга...

* Я недоволен своей формулировкой на суде: "Продолжаю голодовку, требуя эмиграции в США". Она искажает суть дела. Добиваюсь эмиграции — это само собой. А голодовка — сама собой.

На эти темы мы кое-как перемолвились с женой на свидании 1-го апреля: намеками, ловя их с полуслова. Особенно не разговоришься, когда на свидание дано полчаса, и вы оба сидите в этих стеклянных банках, где друг друга слышите неважно (трубки, что ли, барахлят), зато вас, наставив ухо, с двух сторон прослушивают два сержанта в юбках (а где-нибудь, невидимое, и третье ухо приложено к аппарату). Лариса начала было мне рассказывать о Пашке, но у меня слезы подступили к глазам, и я попросил ее не говорить о сыне. Я очень тоскую по нему. Он сейчас совсем рядом — ждет с дедом за воротами тюрьмы. А каково сейчас Иосифу Ароновичу? Что ему вспоминается? Киевская тюрьма сорок лет назад, оставшаяся где-то шестилетняя дочь, которую он увидит потом семнадцатилетней? Воркута, Игарка, друзья, похороненные там? Тестю скоро восемьдесят лет; мы с ним искренне привязаны друг к другу. С каким чувством смотрит он сейчас на двухлетнего внука?

— Сижу я в камере, все в той же камере,
В которой, может быть, сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет.

Не дай Бог Пашке судьбу деда, отца и матери!

9 апреля. Кончился срок, данный на обжалование приговора. Я им не воспользовался. Сегодня приговор вступает в законную силу.

Днем меня привели в кабинет начальника. Кроме него самого, там еще три майора МВД и уже знакомый мне прокурор по надзору.

— Действительно ли вас, Марченко, избивали в тюрьме по прибытии? — спрашивает прокурор.

(Наверное, жена подала жалобу после свидания; не сам же начальник тюрьмы донес на себя. — А больше я никому не говорил.)

Я подтвердил этот факт.

— Вас никто не избивал. Вас никто не трогал, — убедительно возразил мне один из майоров — начальник Калужского УМЗ.

Доказывать мне нечем, да и не хочется. Зря Лариса пожаловалась, я ее не просил. Майору из УМЗа тоже доказывать нечем, но от него и не требуют доказательств. Меня же сейчас интересует не он, а начальник тюрьмы — что он скажет? А ниче-

го. Молчит, передергивает рычажки на своем пульте, и стерты у его взгляд, но он не поднимает головы. И то ладно

(Теперь я узнал, как он отвечал на жалобу самой Лариссе — Избили? Мне об этом ничего не известно.

— Муж сообщил мне, что говорил вам ...

— Я проверил, это не подтвердилось.

— Вы же только что сказали, что не знаете! Как же вы проверяли — спрашивали тех, кто бил?

— Марченко осматривал врач, следов побоев не обнаружил (опять соврал! Никто не осматривал — ведь я не жаловался; и он это знает).

— Я понимаю, что моя жалоба бездоказательна. Я вам об этом случае сообщила, чтобы вы обратили внимание: других, наверное, тоже бьют.

— Вашего мужа никто не бил.)

Следующий вопрос — об отобранных перед судом бумагах. Опять начальник тюрьмы помалкивает, а майор из управления спорит, что не отбирали. — Но ведь на суд меня принесли с пустыми руками, я это и судье заявил, и публика знает!

— Так, может, сам Марченко нарочно их в камере оставил? Позвать сюда выводившего надзирателя!

Тут вмешивается начальник тюрьмы: он не помнит, кто тогда дежурил, того надзирателя найти никак невозможно.

Прокурор понял, что тут не полный ажур, а потому слишком рьяно уличать меня во лжи — как бы не промахнуться, и своего не попасть. Битый час шло толчение воды в ступе: что же вы конвоем не заявили? Ах, конвой тоже отобрал бумаги? Как-ак не знали о дне суда? Вам же объявили! — Нет. — Этого быть не может! Ведь объявили? (это к тюремному начальству). Начальник тюрьмы молчит — а знает, что не сообщили. Майор из спецчасти трясет головой: сам, лично объявил! Прокурор, вновь почувствовав себя уверенно, требует соответствующую бумагу. А она не оформлена, и подписи моей нет (ни понятых, если бы я от росписи отказался).

Опять разговор возвращается к отнятым бумагам — может, их все-таки не отбирали?

— Это не тот случай, что с избиением. Не отбирали? Да весь зал видел, как мне их принесли и вручили к концу заседания...

— Как?! — вскинулся, как проснулся, управленец. — Так их вам вернули? Так они у вас? Товарищи! — он обе руки простер к коллегам. — Вы слышите — бумаги у него, ему их

вернули! А он кляузничает, а мы разбираемся. Вернули бумаги-то!

Прокурор и начальник тюрьмы пытались взглядами остановить его неуместные восторги, но он не унимался: — Да мы вам вот сейчас телеграмму с Ямайки вручили! (Действительно, вручили: сочувствие, поддержка.) Такую телеграмму — отдали в руки! И бумаги, оказывается, вернули! А вы...

Но тут его настиг, наконец, остерегающий взгляд прокурора, и он так и остался с открытым ртом, недоуменно переводя глаза с одного на другого. Между прочим, дело серьезное: отобрать у подсудимого обвинительное заключение значит нарушить его право на защиту, а этого довольно для пересмотра дела. Как управленец мог не знать этого? На мундире у него тоже синий ромбик — высшее образование!

Впрочем, несмотря на неловкие моменты, все обошлось: жене прислали ответ, что меня не били и что бумаги были при мне на суде. Это при полном зале свидетелей обратного! Прокурор врет — какой же с бедняги Кузикова спрос?

... Каков "мой" честный майор? Я торжествовал: мой тезис о собаке на собачьей должности не дал осечки. А к вечеру получил еще одно подтверждение. Мне вручили постановление о лишении свидания с женой — подпись стояла "начальник СИЗО—1 майор Н.В. Кузнецов". Но тут я почему-то не радовался своей пронизательности.

12 апреля— День космонавтики, и Калуга, "историческая колыбель космических полетов", отмечает его как свой престольный праздник. С утра на эту тему надрывались все репродукторы, а их полно: в каждой камере, да еще громкоговоритель во дворе. Меня всегда раздражает самодозольное советское бахвальство о покорении космоса, я от него завожусь, как мальчишка: вам ли гордиться? Областная газета информирует о снятии маршрутов городского (!) транспорта в связи с весенней распутицей, из ближних районов в эту космическую колыбель едва добираются на тракторе, а туда же, первые в мире, лучшие в мире!

Кормежка сегодня была часа на два раньше обычного (а вчера медосмотр; не на этап ли готовят?), и, отлеживаясь после нее в своей камере, я уж и не знаю, от чего меня тошнит — от шланга проклятого или от ликующего тона радиодиктора. Хочу отвлечься и не могу, наверное, от злости. Передают интервью, документы, воспоминания о Гагарине, все просло-

ено громкогласной оптимистической музыкой. Вот включают запись с космодрома 12 апреля 1961 года (мне тогда было 23 года, и я сидел на семипалатинской пересылке на пути в Тайшет).

Сквозь шум и треск из космоса слышится голос Гагарина: — Поехали!

Дверь камеры распахивается, на пороге улыбающийся надзиратель с моей личной карточкой в руке:

— Ну, Марченко, поехали!

Остается собрать свое барахлишко: мыло, пасту, носки, учебник английского языка.

В тюремном боксе меня принимает конвой. Обыскивают, задают вопросы:

— До машины дойти сможете? — значит, знают, что берут голодающего.

— Есть ли возражения против этапирования?

Я делаю заявление, что голодаю 45 дней, а на прочие вопросы не отвечаю.

— Получите этапный паек.

— Не беру.

Паек берет сопровождающий машину старшина, а меня запирают в тесном боксе воронка: со всех сторон железно, железная дверца с крошечным иллюминатором — глазком. Один — и то слава Богу!

Может быть, глядя в окно своего кабинета на отъезжающий воронок, майор Кузнецов злорадно усмехается: "Поехал!" И облегченно вздыхает тюремный врач: "Поехал наконец-то!"

Вагонному конвою я тоже заявил, что 45 дней держу голодовку.

— Чего, чего?! — переспрашивает начальник конвоя.

Офицер из тюрьмы что-то шепчет ему, и он больше не задает вопросов, орет:

— Давай, давай в вагон, чего стоишь!

Старшина пытается сунуть мне паек в руки, но я не беру.

В вагонзаке в тройник вслед за мной вталкивают еще одного калужанина (а третий попутчик здесь раньше нас, едет от Воронежа).

Едва войдя, он протягивает мне сверток:

— Ты Марченко? Старшина велел передать, тут твой паек.

— Я паек не беру: голодающий.

Парень смутился, поняв, что влип в историю, стал оправдываться:

А х.. — лишь он мне не сказал, я бы х.. взял.

Много раз меня возили этапом, и, хорошо зная прелести такого путешествия, я побаивался, как перенесу его в состоянии голодовки. Но все же надеялся на свои силы и на свое упорство и имел твердое намерение продолжать голодовку и в этапе, и в ссылке. К тому же мне пришлось видеть голодающих в этапе и слышать о них, и я знал, что как ни худо, а все-таки тюремщики как-то поддерживают их силы, не дают умереть. И в тюрьмах, и в вагонзаксах их держат отдельно от остальных. Я не мог себе представить, каким непосильно тяжелым окажется этот этап.

Из Калуги меня везли таким маршрутом: через Калинин на Ярославль (пересылка); Пермь (пересылка); Свердловск (пересылка); Новосибирск (пересылка); Иркутск (пересылка) — и, наконец, Чуна. На пересылках прокантовали около месяца, да дней 10 дороги (вагонзак отцепляют, перецепляют, иногда часов по восемь стоит на путях, а в нем взаперти — люди) — всего я пробыл в этапе месяц и восемь дней.

В сопроводительных бумагах не было пометки о голодовке (но я сам заявлял многократно); ни разу за все это время, ни до снятия голодовки, ни после, ко мне не подошел никто из медработников, не сделано было никакой скидки на голодовку. Общая камера на пересылке, общая камера в вагонзаксе, общий режим, распорядок, требования. Общий этап. А это значит: втискивайся в битком набитые воронки, часами стой на ногах в тюремных боксах, валяйся на цементном полу (если еще найдется место!) в пересыльных камерах, по лестнице вверх, по лестнице вниз, в коридор на перекличку, в баню, на прогулку, давай-давай, поспевай, отстал! С матрацом по лестнице вверх — в камеру, с матрацом в каптерку — живей, шевелись! Не задерживай!

Лишенный перед отправкой свидания с женой, я не мог получить необходимые мне в дорогу кружку и посудину для воды. Значит, в вагоне смочишь сохнувший рот лишь три раза

в сутки, когда конвой принесет бачок. В одном тебе легче, чем прочим: не приходится мучиться от оправки до оправки, просить конвой вывести тебя в уборную, слыша в ответ: в сапог!

Уже на третьей сутки этапа я почувствовал, что выдыхаюсь.

14 апреля. В Ярославле нас выгружают из вагонзака, колонну принимает ярославский конвой (пересчитывают, сверяют по своим бумагам). Я сообщаю конвою:

— Держу голодовку 47 дней.

— Здесь нет голодающих!

В этапной камере обе лавки уже заняты, и вновьприбывшие стоят на ногах. Набили нас столько, что стоим впритирку. Душно, накурено — лиц не видно. Я, наверное, свалился бы, но мой попутчик похлопотал за меня, и мне уступили сидячее место.

Часа через четыре повели нас из этого отстойника в баню. На мытье у меня уже не было сил, и я просто так сидел в моечной, пока остальные мылись. После бани — опять отстойник, но уже ненадолго. И, наконец, привели меня (нагрузив тюремным имуществом — матрацем, подушкой и прочим, что полагается) в камеру. Слава Богу, небольшая: тройник, и нас в нем только двое. Я сразу же лег.

В тюрьме я снова заявил о голодовке. Ответ тот же:

— У нас нет голодающих!

Я написал заявление на имя начальника тюрьмы: сообщаю, что держу голодовку. Отдаю дежурному офицеру, он не берет:

— О чем заявление?

— О голодовке.

— Голодовку объявляешь?!

— Нет, я давно держу, с момента ареста, 47 дней.

Он ушел, не взяв заявления, но вскоре вернулся:

— Я смотрел ваше дело, там о голодовке ничего не сказано. Мы не признаем голодовку!

И тут я заиклился. Едва отдышавшись (т.е. через час или два), я стал требовать, чтобы у меня приняли заявление. Я пытался вручить его надзирателям, дежурным офицерам, добивался, чтобы пришел врач или фельдшер. Колочу кулаками в дверь. Мой сокамерник тоже стучит: в окне камеры ни одного стеклышка, дверь расхлябанная, сквозняк тянет напрямую и прохватывает нас насквозь; а ведь середина апреля,

холодно, к вечеру у нас зуб на зуб не попадает.

Наконец появляется корпусной. Сосед мой требует перевода в нормальную камеру, я же — чтобы взяли заявление и чтобы врач пришел.

Далось мне это заявление! Спрашивается, чего я хотел? Врача требовал! Что мне было нужно? Чтоб накормили насильно? Нет, честно говорю, нет. Есть мне не хотелось, голода я не чувствовал. К мучениям не стремился, не получал от них удовлетворения (я это говорю без иронии — слышал, что так бывает). Поддержать силы? Пожалуй, нет. На третий день этапа я был уже очень слаб, и надо сказать, что это отвратительное состояние — и физически, и нравственно. Я ощущал, что слабею буквально с каждым часом, и, понимая, что рано или поздно дойду до предела, когда не в силах буду подняться, хотел бы, чтобы этот момент уже наступил. Что будет затем — я не думал. Сниму голодовку (но я боялся, что, не зная, как выходить из голодовки, я могу сразу угробить себя). Или потеряю сознание — и тем освобожусь от ответственности за самого себя (подлая мысль; но так хотелось в этой слабости освободиться от груза, от усилий, даже нравственных). Зато, исчерпав все силы, можно не подниматься, не двигаться, лежать — и делайте со мной что угодно: я *не могу* встать.

Но пока еще, выясняется, могу. И приходится тянуться за остальными, сильными и здоровыми.

Вот если бы признали меня голодающим, то не гоняли бы — бегом, бегом! — по коридорам, по этапным камерам, не заставляли бы вставать, когда проверка ... Я мог бы лежать. Я хотел, чтобы меня оставили в покое, не дергали.

— Примите заявление о голодовке.

— У нас нет голодающих!

Вот это, оказывается, мне переносить труднее всего — это безразличное отношение ко мне. Не ко мне, Анатолию Марченко, а ко мне, человеку. "Нет голодающих" — и все, и ты не голодовку держишь, а так просто: пообедал или вылил в сортир, твое дело. Да пусть бы никаких скидок, никакого облегчения, пусть бы даже большие тяготы голодающему (скажем, карцер), но чтоб только знали хоть про себя: на ногах держим — голодающего, лечь не даем — голодающему, навьючиваем — голодающего, загнали, упал, умер — голодающий ... Так нет же! "У нас нет голодающих".

— Возьмите заявление!

— Сиди, сиди!

— Врача!

— Жди, будет врач.

И нет врача. А то подойдет, спросит в кормушку, в чем дело.

— Голодовка ... Пять дней нет стула... Дайте слабительное...

— Ладно, подождите.

Уходит и больше не появляется.

Первую ночь в Ярославле я не спал, а в каком-то полузабытьи провалился до подъема. На следующую ночь, часов в 12, меня вызывают на этап. Я уже не в силах тащить матрац в каптерку, бреду из камеры порожняком. Надзиратель, матюгаясь, дергает меня за рукав обратно в камеру, дергает так, что я валюсь на стенку. Но тем и кончилось: спасибо, сосед вытащил мою постель.

Нас, этапиремых, ведут в этапную камеру, и здесь мы проводим всю ночь до утра *на ногах* — сидеть не на чем, лавок нет. Под утро выдают селедку и хлеб — этапный паек.

— Не беру. Голодающий.

— Сколько ж голодаешь?

— 49 дней.

— 49? И ты еще живой? — Капитан рад развлечению. — Ха-ха-ха! Ну и живучий! Ха-ха-ха!

Огромная туша капитана колышется от смеха, брюхо трясется и ходит ходуном. Я взбешен, чувствую себя униженным и бессильным.

Минут через сорок капитан снова появляется на пороге камеры, за его широченной спиной скорее угадываются, чем видны надзиратели.

— Где тут голодающий? Подойди!

Я с трудом поднимаюсь с пола, протискиваюсь из угла камеры к двери, останавливаюсь перед капитаном:

— Я голодающий.

Он стоит, заложив руки за спину, окидывает меня взглядом:

— Голодающий, пойдём, поборемся!

Капитан хохочет, смеются за его спиной. В камере тихо.

Я отхожу от него подальше, чтобы не сорваться, и долго переживаю этот эпизод. Я и потом возвращался к нему, когда был уже далеко от Ярославля и снял голодовку. Почему я не плюнул этому борову в рожу? Или правильнее, что сдер-

жался?

... А все же интересно, чем бы для меня обернулось дело, плюнь я в него или запусти чем-нибудь. Побоями? Судом?...

18 апреля. На рассвете приехали в Пермь. Снова заявляю конвою:

— Я голодающий, голодовка 50 дней.

— А где ваш сопровождающий? Врач или фельдшер?

— Откуда я знаю!

— Тут что-то не так! Был бы голодающий — без врача ни один конвой не принял бы.

Воронок — обычное дело — набит битком, и так как я подхожу последним, мне места нет. Зэк передо мной сумел втиснуться лишь наполовину, я останавливаюсь за его спиной. А сзади: "Давай, давай!" Видя мое неусердие, два конвоира вцепились руками в решетку, а коленями стали вминать меня в сплошную массу зэков. Вдавили, задвинули дверь — решетку, зацемявив ею мою телогрейку на спине. Так я провисел около часу — пока загружали остальные воронки, да пока ехали по городу, да стояли во дворе тюрьмы. Не знаю, все ли время я был в сознании...

В этот день дважды я подавал дежурным офицерам заявление о голодовке, и дважды оно летело на пол, мне под ноги:

— Паек получил? Сожрал? Голодающий!...

Окружающие сочувствуют мне, возмущаются тюремщиками. Мой попутчик из Ярославля рассказывает им: "Я с ним в одной камере был, и в вагонзаке двое суток на одной полке сидели — он ни крошки в рот не положил. И паек не взял". — "Да что, по нему не видно?" Но никто не понимает моего упрямства: "Им не докажешь!" "Подохнешь только им на радость", "Нет правды, где правда была, там х . . . вырос" и т.п. Все дружно советуют мне бросить бесполезную затею.

Пора кончать голодовку. Завтра сниму.

В этот же день всех прибывших выводят к врачу на медосмотр (называется почему-то "комиссия"). В кабинет запускают по 6 человек, опрос короткий (осмотра совсем нет):

— Жалобы есть? Вшей нет?

Я сообщаю: 51 день голодовки.

— А где ваш врач?

— В Калуге, в тюремной медчасти.

— Вас должен был сопровождать врач до самого места...

Когда вас в последний раз кормили?

— 12-го, в день отправки.

— А сегодня 18-е... — она смотрит на меня с сомнением.

— А когда был стул?

— 9-го. Дайте слабительное.

— Но я только принимаю этап. Помощь оказывают другие. Ни ее, ни "других" я больше не видел.

В течение дня нас водят в баню, проверяют, перепроверяют, сортируют, загоняют в отстойники. Многие мои попутчики едут на "химию", да и в предыдущих этапах, видно, тоже. Стены в боксах исписаны прощальными надписями: "Восемнадцать человек из Грозного ушли на "химию" — и число; "22 человека из Кишинева ушли на БАМ" — и число.

В камере, куда я попадаю лишь к вечеру, одни "химики" и ссыльные, человек 25. Всем нам, в отличие от лагерников, выдали по две простыни — впервые встречаюсь с такой роскошью. Зато четверым, в том числе и мне, не находится места на койках, так что постель стелить негде. На ночь в камеру дают четыре деревянных щита на пол, а утром, в 6-00, забирают, и прилечь негде. Ну, правда, можно на голом полу.

19 апреля. Не так это просто, оказывается, — остановиться. Утром я снова отказываюсь от пищи, пытаюсь — безуспешно — вручить дежурному заявление, требую врача. "Врач будет" — обещает надзиратель; но парень, у которого огромный гнойник на ноге, со знанием дела дополняет: "Будет — не чаще раза в неделю; и то надо с боем добиваться".

Я все же жду врача, да и что еще остается? Больше всего хочется лечь и лежать, но у меня нет лежащего места. И врача нет.

Сегодня 52 дня голодовки. И неделя этапа. Как это может быть, что я еще держусь на ногах? Прав тот капитан: живучий, черт! Хоть бы скорее потерять сознание! Тогда я знал бы, что дошел до предела, и снял бы голодовку. И еще, может быть, мне дали бы полежать, отлежаться (все-таки, оказывается, я надеюсь на какую-то гуманность в родной стране).

Пока же удастся немного полежать на кроватях соседей: то один, то другой на время уступает мне место.

Разносят обед, я снова отказываюсь, — а зачем? Нет, я все-таки добьюсь, чтоб меня признали голодающим! Стучать в дверь руками или ногами я уже не могу, т.е. пытаюсь, но удары получаются слабенькие, так, какое-то царапанье, и никто

даже не подходит: здесь пересылка, и такой ли надзиратели слышат стук и грохот! Тогда сокамерники сооружают мне таран: придвигают к двери стол, на него кладут скамейку вверх ножками — вози ее по столу и бей в дверь. Для многих это развлечение в нудной тюремной жизни, в их глазах любопытство, что сейчас будет, чем это дело кончится? Некоторые подзуживают меня, другие остерегают: "Брось ты эту затею, выведут в коридор, отбуцкают и в карцер" (вчера вот так после прогулки одного уволокли; да это тут вообще не редкость). Ну и пусть, в карцер, так в карцер, мне уже все равно. Бью тараном в дверь, удары получаются редкие, но достаточно громкие. Подошел коридорный, увидел в глазок таран, заорал, заматерился. Я продолжаю свое занятие, как автомат. Коридорный ушел. Через сколько-то времени загремел замок. Камера насторожилась, замерла, мне шепчут: "Скажут выходить — не иди!". Один подходит и тянет меня от двери. Но вот дверь открыли. На пороге три надзирателя, один из них тычет в меня пальцем:

— Выходи!

Два-три парня подают голоса в мою защиту.

— Ну, и вы выходите, — тычет он в них.

Голоса стихают. Я ступаю за дверь, в полутемный коридор, в ожидании первого удара. Но вместо того — в стороне у стены замечаю пожилого майора с нарукавной повязкой "Дежурный пом. начальника". (И на кителе голубой ромбик!)

— Что там у вас?

Я подаю заявление. Он его читает — и берет!

— Передам начальнику. Врач будет.

Меня возвращают в камеру к удивлению сокамерников. Но часа через два меня снова вывели в коридор, к тому же майору. У него в руках мое заявление.

— Начальник вас не примет. Какая у вас может быть голодовка? Вы же вольный человек, едете на свободу. Там и жалуйтесь. А мы к вам отношения уже не имеем и ваших заявлений не разбираем. Все.

— А врач? Будет ли?

— А что вам от него нужно?

И в самом деле — что?*

* Примечание жены Анатолия Марченко: По-моему, муж хотел одного — милосердия. От него одного ему стало

— Слабительного.

— Я скажу работнику медчасти.

— И лечь мне негде.

Майор оборачивается к коридорному, велит найти мне место.

— А где мне взять? Все камеры переполнены, эта самая свободная.

Я снова в своей камере. Так же без места. И врач не появился, и даже сестра, которая иногда разносит таблетки по камерам — "от головы", "от живота", — в нашу камеру не заглянула. Отбой.

20 апреля. Ночью я проснулся у себя на щите от резкой боли в желудке. Меня трясло, ныло сердце. Боль от желудка разошлась по всему животу — сначала резкими приступами, а под утро стала постоянной.

На поверку я не встал, но это обошлось. Мне уступили на

бы легче в эти тяжкие дни, когда он слабел с каждым часом и чувствовал себя совершенно беспомощным. Не конкретной помощи, а милосердия. А почему от врача? А от кого же еще? От надзирателя? От прокурора? На враче белый халат, сумка с красным крестом — устаревшие символы службы милосердия.

Сам Анатолий категорически отвергает мою догадку: "Я же знал, с кем имею дело". Знал, знал... И все же думаю, что я права. Все мы в слабости и страдании ищем добрую руку, участливый голос, сострадательные слова. Но наша жизнь милосердием небогата. Сестру милосердия заменила медицинская сестра, функция которой — умело воткнуть в вас иглу, не перепутать таблетки. Духовную поддержку получить и вовсе не у кого (разве что у парторга?). Наше воспитание со школьной скамьи направлено против жалости: "Не жалеть... Не унижать человека жалостью..."

Вот главное отличие старых русских мест заключения (каторги, острогов, тюрем) от нынешних: арестант не видит милосердия. Раньше оно притекало к нему по трем узаконенным каналам: через церковь, через врачей (и сестер и братьев милосердия) и через добросердечие народа, воспитанное тоже церковью. Не каждого оно в состоянии проиять и возродить, но только оно могло проникнуть к ожесточившимся отгородившимся от мира душам преступников. И, видно, милосердия жаждали арестанты, раз, сытые острожной пищей, просили Христа ради и принимали милостыню на праздники. Это их почему-то не унижало — а вдруг да и возвышало, поднимало со "дна"?

В сегодняшней тюремной системе нет места жалости, доброте, участию, все блага и поблажки отмеряются механической мерой: "заслужи!", "докажи, что достоин!" (даже больных не актируют, даже матерей лишают амнистии).

Но откуда взяться милосердию к заключенным, когда его нет на воле?

Л.Б.

время койку в нижнем ярусе, и я лежал на ней лицом вниз, боясь пошевелиться, так было больно. Я уже не думал о голодовке — снять, продолжать? — не лез с заявлениями, не требовал врача. Лежал и был рад, когда боль немного унималась.

— Прогулка! На прогулку!

Я это слышал, как сквозь вату. Слышал, как нашу камеру вывели в коридор. Я остался лежать.

— Па-чему не выходишь?! — надзиратель, молодой кавказец, рывком сдернул с меня телогрейку.

— Не могу.

— Не можешь? Гдэ асвабаждэние от врача?

— Врача нет и не было.

— Выхады! — и он рванул меня с койки, как только что телогрейку.

Я не встал и снова повалился на постель. Надзиратель выматерился и ушел — в коридоре выстроены остальные заключенные, и надо их вести на прогулку. Я надеялся, авось меня оставят в покое, и стал моститься, ища удобное положение. Нашел, затих. И боль поутихла, только озноб стал сильнее. Но тут в камеру вбежали два надзирателя (кавказец и еще один) и, ни слова не говоря, сдернули меня с койки и поволокли к двери. Я не держусь на ногах, вернее, не передвигаю ими, и они бьют меня по ногам сапогами.

Может, я и мог еще сам идти, может, то была бессознательная реакция обессиленного тела на насилие? Не знаю.

В дверях камеры я упираюсь ногой в порог. В ответ знакомым приемом выворачивают мне руку за спину, и я получаю удар сбоку в живот...

Я очнулся на полу в коридоре. Прямо перед глазами хромовые сапоги. Кто-то ищет пульс у меня на руке. Другой орет в телефон:

— А если он умрет у меня в камере? Забирайте в больницу и делайте, что хотите, а я отвечать за него не буду! Если он умрет...

Не очень-то приятно слышать такое.

Надзиратель бросает трубку и говорит напарнику:

— Сейчас врач придет, давай его в камеру.

Меня щупают за щеки, слегка трясут, но уже без грубости. Пытаются поднять, но я снова валюсь на пол, теперь уж действительно ноги не держат. Тогда за руки и за ноги надзиратели втащили меня в камеру, бросили на койку и вышли, оста-

вив дверь открытой. Я лег вниз лицом, подтянул ноги к животу — не так больно. Но я же в тюрьме, и надзиратель за меня отвечает. Подошел, перевернул на бок, лицом к двери.

— Мне так хуже!

— Лежи так! — уходит.

Спустя какое-то время, слышу, кто-то вошел в камеру, остановился, не подходя к кровати. Открываю глаза — женщина в белом халате стоит от меня метрах в двух (ближе так и не подошла):

— Что с вами случилось?

— Голодовка, 53 дня.

— Вас должен сопровождать врач, и так далее, уже слышанное.

— Мне нужно слабительное.

— Хорошо, дам. Когда вас кормили?

— Перед этапом, 8 дней назад.

— И с тех пор нигде ничего? А оправлялись когда?

— 9-го.

— 9-го?!

Она открывает свой ящичек с красным крестом, достает пакетик. Но потом вдруг смотрит на меня — и прячет пакетик обратно.

— Вам теперь нельзя. От слабительного вы еще больше потеряете силы.

И уходит. Дверь с грохотом закрывается и тут же с грохотом отворяется снова, в камеру входит офицер — полковник не то подполковник — в сопровождении надзирателя.

— Встать!

Лежу и головы не поднимаю.

— Встань, кому говорю!

— Я уже лежащий.

— Начальник перед тобой стоит, а ты лежать будешь? Встать!

— Ложитесь тоже.

— Что?! Я ведь и в карцер тебя могу!

— Это и он может, — я показываю на надзирателя.

Офицер заходил по камере, потом снова подошел ко мне:

— Ты за что попал?

— Не тычьте.

— На "вы" я с лучшими друзьями разговариваю, а не с преступниками!

Дурак какой!

Он подошел ближе, и мне почуялся запах водки.

— Голодайте или нет, а мы отправим вас дальше с ближайшим этапом.

А в коридоре уже толпились вернувшиеся с прогулки заключенные. Их не впускали в камеру, пока офицер не вышел. "Хозяин!" — услышал я от них, когда они вошли.

Просился я к нему на прием — не принял, а тут сам пришел.

Целый день я лежал на койке, никто меня не дергал, не тревожил. После отбоя перебрался на свой щит. Боль в животе совсем утихла, озноб стал меньше, только сердце продолжало ныть.

С заявлениями покончено. От врача мне тоже ничего не нужно. Самому непонятно, зачем я рыпался, чего добивался. Лежу, не поднимаюсь, мне покойно и ничего больше не надо. Давно бы так — не встану, хоть убейте.

Теперь я стал думать.

Так, меня отправили из Калуги общим этапом за 4000 км. Отправили голодающего, после полутора месяцев голодовки, и не только без сопровождения, которое, оказывается, полагается в таких случаях, но даже не сделав в сопроводилровке пометки о голодовке. Вряд ли Калужская тюремная администрация и врач взяли на себя такую ответственность сами, без чьего-то указания — того, кто за кулисами распоряжается моей судьбой.

На что же был расчет? Что я умру в пути? Или сниму голодовку? Но в условиях этапа и это не гарантирует меня от гибели. Сообщат жене о смерти, вписав любую причину, для себя же решив: сам себя угробил, туда и дорога; "собаке — собачья смерть". И никто не только не понесет никакой ответственности, но даже не почувствует вины.

Да и что мне в том?... Но все-таки обидно было бы дать себя убить вот так, безнаказанно, безвозмездно. Да я и не собирался умирать.

Три месяца до ареста жена уговаривала меня не объявлять голодовку, хоть не бессрочную: "Двух недель достаточно. Ну, пусть три недели — ты же ничего не требуешь, для заявления протеста этого довольно", — торговалась она со мной, а я смеялся и говорил, что вытяну несколько месяцев и непременно сниму, не доводя дело до крайности. Я и сам не стремился к смерти.

Сколько я мог бы продержаться без искусственного кормления (т.е. если бы меня не накачивали вообще, с начала голодовки)? Мне кажется, что месяца полтора—два, а то и больше — но, конечно, не в этапе, а в покое. Может, я и ошибаюсь. А теперь — мог ли бы я голодать дальше? Кто знает? Я слышал, что при голодовке можно умереть не от истощения, а от паралича сердца; так в какой же день дополнительная нагрузка на сердце — беготня, духота, давка и т.п. — окажется последней каплей? Оно и так уже болит, ноет, прежде здоровое сердце... Да и без того — саданет кулаком надзиратель в расчете на здорового, и конец. Это могло и сегодня случиться.

Если б меня оставили в покое (да не в общей камере!), я мог бы и дальше не есть. Ну, еще три дня. Потом все равно пришлось бы снимать голодовку — не умирать же на самом деле, тем более кому-то на радость.

Наверное, надо было прекратить ее еще в начале этапа, ну, скажем, в Ярославле. Но вот это "у нас нет голодающих!" — и я, дурак, завелся. Да и недосуг все было: вагонзак, бокс, воронок, баня, "паек не беру" — когда тут затормозиться, отвлечься от сиюминутной суеты, с толком принять решение? Психологически переориентировать себя — для этого тоже покой нужен, а не так: не ел, не ел — дай-ка пожую маленько.

53 дня. Хватит. Завтра утром сниму голодовку.

21 апреля. Это значит, что утром я беру пайку — полбуханки черного хлеба. Но вот проблема: что с ним делать?

Я не знаю, как выходить из голодовки, спросить не у кого, да хоть бы и знал, мало толку. Научные рекомендации были бы бесполезны, кроме обычной тюремной пищи я все равно ничего не получу.

Пайка лежит пока нетронутая. На завтрак дают черпак каши, с нее я и начинаю. Я не знаю, из какой крупы эта каша, и не берусь догадаться; арестанты зовут ее "керзовой", потому что она шершавая и дерет горло. А на цвет синеватая. Вот эту кашу я и жевал чуть ли не до обеда: пережевывая, пока она не превратится в жидкий клейстер (через некоторое время после начала жевания появилась слюна), процеживал ее несколько раз сквозь зубы и лишь потом с усилием глотал. Сама пища оставляла меня равнодушным, занимал лишь процесс еды, от которого я совсем отвык. После каши я таким же образом съел грамм сто хлебного мякиша и запил кипятком с пайковым сахаром. Обеденные щи есть не стал (и еще

недели две обходился без них, не ел и соленую кильку — а это, между прочим, значит, что в пути ничего не ел, кроме хлеба: этапный паек состоит из хлеба, кильки или селедки и 20 граммов сахара в сутки). Вечером похлебал жижи из рыбного супа.

Надо сказать, что кормежка сейчас лучше, чем лет пять назад. Еда на пересылках более удобоваримая, дневная норма сахара увеличена на 5 грамм: вместо пятнадцати — двадцать. Мало? Улучшение на 30% за пятилетку!

На вторые сутки — и во все последующие дни — появился аппетит, да какой! Приходилось бороться с желанием съесть всю дневную пайку сразу, приходилось стыдить себя за мысль, не попросить ли добавки баланды (в тюрьме это не считается зазорным; другое дело, что редко когда получишь). О чем я точно знал — так это об опасности после голода наесться сразу, и поэтому долго еще соблюдал полуголодную диету. Это в заключении так легко!

В этот же день — очередной (раз в месяц) обход прокурора. "Хозяин" (начальник тюрьмы) представляет ему нашу камеру:

— А это люди вольные! — все у нас в камере "химики" да двое ссыльных.

— Вопросы к прокурору будут?

Вопрос у всех один: когда отправят дальше? Большинство здесь кантуется уже три недели. Нам, ссыльным, время в этапе засчитывается в срок из расчета день за три. "Химики" же идут либо из лагерей, либо из зала суда по "химической" амнистии (т.е. они действительно "вольные" — амнистированные, однако едут этапом, под стражей). И им зачетов нет. Ссыльным они завидуют.

Прокурорский обход — развлечение. Никто его всерьез не принимает. По-шутовски ломается начальник тюрьмы, арестанты встречают и провожают прокурора смехом. Это устраивает обе стороны.

22 апреля. Я уже в Свердловске. Хотя я больше не голодающий, но перенести этот перегон мне было не легче, чем предыдущие. Те же набитые воронки и вагонзаки, то же выстаивание часами в тюремных боксах. Пока дошло до бани, я уже вконец вымотался и мечтал поскорее добраться до камеры,

чтобы лечь.

Камера № 11 на Свердловской пересылке заслуживает описания. Это большой зал, примерно в 120 кв.метров. Посередине, отступя от стен метра полтора - два, двухъярусный помост-нары; это сооружение имеет метров 10 в длину и 4 метра в ширину. Проход — только вкруговую, по-за нарами. Остаток площади занят длинным столом со скамьями, а также "туалетом".

Я пробыл в этой камере четыре дня. В это время в ней находилось 163 человека. Как мы там помещались? Днем еще ничего: сидя, человек занимает меньше места. А ночью!... Лежат на нарах, под нарами, на столе, под столом. Проходов нет — лежат в проходах. Впрочем, не лежат: там, где от стены до нар всего полтора метра, не ляжешь в полный рост, а либо свернувшись калачиком, либо сидя спиной к стене, зато ноги вытянуты. Вот такая полусидячая плацкарта досталась и мне. Берегись распрямиться во сне — заедешь ногой в рожу спящему под нарами. Береги и сам себя — ночью через тебя переступают, на тебя наступают пробирающиеся к туалету (унитазов всего два, и за день всем просто не успеть ими воспользоваться).

На поверки камеру выгоняют в коридор, выстраивают в затылок по трое и пересчитывают. Общие объявления надзиратель делает через рупор, перекрывая постоянно висящий в камере шум, крики, брань. А если кого надо вызвать, то это делается методом "передай по цепи": "Петров — на выход" — "Передай Петрову" — "Петрова!" — "Петрова!". Спишь — пинок тебе в бок: "Ты Петров?... Передай дальше!".

Приносят хлеб. Не зевай! Останешься без пайки. Миски с баландой баландер подает в кормушку по счету. Находятся шустряки: караулят обед у двери, получают первыми, и пока дойдет твоя какая-нибудь сто пятидесятая очередь к кормушке, они уже съели свою баланду и затесались снова среди дружков. Баландер отсчитал: "Сто шестьдесят три!" и захлопнул кормушку. Ты и остальные — без обеда.

Еще пуше ног береги обувь: ноги разве что отдавят, а сапоги уведут запросто, и с концами. И не только сапоги, а любую "вольную" тряпку с тебя пытаются содрать, украсть, обменять на лагерное рваньё. Сначала подъезжают "по-хорошему": "Земляк, махнемся!" — и тебе всерьез предлагают сменить свитер или приличный костюм на рваный лагерный бушлат. Идут

уговоры, намеки. Устоял? Уснешь — пропало все, и сменки тебе уже не дадут. Мой свитер и сапоги (импортные!) вызывали особенный интерес, и ко мне тоже подъезжали "по-хорошему". А ночью приходилось дремать вполглаза, оберегая свое имущество. Раздевшись, я подложил свитер под спину, сапоги — под ноги — не спать же в них! Рядом уселась компания с картами, галдят, но мне, глухому, это не мешает. Сквозь дрему чувствую — кто-то сапог подергивает: дернет — и передышка, потом снова. Я чуть приоткрыл глаза, вижу, парень из картежников потихоньку тянет у меня сапоги из-под ног. Я одну ногу снял с сапога, задрал ее на стояк нар, будто во сне, а сам жду, когда он, голубчик, рванет их — тут я и уроню ногу ему на шею. Но он с сомнением переводит взгляд с сапог на поднятую ногу, потом на мою физиономию — сплю ли? — переглядывается с остальными и уходит к столу. За ним и компания. Ну и слава Богу, не хватало мне драки. Эти-то парни — "шестерки", работают на паханов (их в камере два, оба борцовского вида малые лет по 25-27, сначала обрабатывают новичка уговорами, а потом сдают "шестеркам"). После этого случая меня оставили в покое — угадали мой лагерный опыт, что ли? А ведь могли запросто обобрать, сил на драку у меня не было. Но эта шпана открыто отнять все же не решается.*

В камере № 11 и лагерники, и "химики", и ссыльные. "Химиков" больше всего, как раз в марте прошла очередная "химическая" амнистия, и через Свердловск в Тюменскую область шел этап за этапом. А ссыльные (в основном алиментщики: "За что попал?" — "За золотые яйца!") и поселенцы отправляются главным образом в Иркутскую область, на трассу БАМ.

По всей длинной стене камеры арестанты выцарапали этапный маршрут от Москвы до Владивостока. Не хуже, чем на рекламе международного туризма, выведены все изгибы железной дороги "от края и до края". Обозначены все пересылки, сколько ехать от "вокзала" до "вокзала" (вагонзакон, конечно, фирменным гулаговским экспрессом). И на север от основной магистрали, где пунктиром, а где сплошной линией, выцарапан БАМ — "стройка века" не обойдется без зэка.

* А в Находке, рассказывал сокамерник, сдирают, не стесняясь. Едва ты вошел в камеру, с нар слышится: "Рубашку забил!", "Брюки забил!". Опомниться не успеешь, а уж на тебе ни того, ни другого, и уже шпана играет твоё барахло в карты.

Не знаю, много ли таких камер, как одиннадцатая, в Свердловске. Местные арестанты хвастаются, что в этой тюрьме одновременно содержится от 25 до 30 тысяч заключенных; может, и так. Официальных данных нет, они засекречены. Я могу сказать только одно, то, что видел своими глазами: тюрьмы набиты битком, переполнены, и в основном молодежью. Официальная информация сообщает нам о сокращении преступности — откуда же берутся эти тысячи и тысячи этапирруемых от Подмосковья до Тихого океана? Сколько их на самом деле? Как необходима настоящая, подлинная информация, с цифрами, а не с голословными успокоительными фразами. Можно предположить, что нефальсифицированные данные о преступности насторожили бы нашу общественность; еще большее беспокойство должен бы вызвать рост преступности несовершеннолетних. "Изнутри" наглядно видна порочность системы "воспитания" людей через тюрьму и лагерь; малолетних она тем более развращает и калечит.

Но голос "изнутри" (из тюрьмы, лагеря, с поселения) не слышен общественности. А "снаружи" ей не видно — государственная тайна.

23 апреля объявили этап на Иркутск — 86 человек и среди них я. Слава Богу, прямой этап, минуя Новосибирскую пересылку! Ночь все мы, 86, провели в этапной камере, где места — на 30 человек от силы. До утра просидел у стены на корточках, а утром — всех обратно в 11-ю камеру. Нас узнают и встречают дружным хохотом. За сутки из камеры ушло на этап человек шестьдесят, но столько же принято с нового этапа, просторнее не стало.

Я забыл сказать, что такая формальность, как выдача арестанту матраца, в Свердловске соблюдается неукоснительно (и кто в камере без места, тех матрацы общей грудой свалены на полу). Итак, 22-го я волок матрац в камеру; 23-го, выхватив из кучи первый попавшийся, сдавал его в каптерку; 24-го снова получил и отправил в ту же кучу. 25-го опять оттащил и сдал в каптерку. Снова ночь на корточках в этапной камере, и 26-го, наконец-то, в пути. На Новосибирскую пересылку.

Был бы я в таком состоянии на воле — лежал бы не поднимаясь. И не в силах был бы подняться. Но прикосновение к земле ГУЛАГа вливает в человека неведомую энергию — и ты

бредешь, плетешься, бежишь, стоишь стоймя, висишь, зажатый между другими. А куда денешься? ”Партия сказала — надо, комсомол ответил — есть!”.

27 апреля — 21 мая. Так я и знал, что если к праздникам не доберусь до места, то недели на две застряну. Этапы прекращаются за несколько дней до праздников, а тут два кряду: Первомай и День Победы. Оба я провел почти на родине: от Новосибирска до Барабинска 4 часа поездом. И барабинский земляк угостил меня в камере колбасой и огурцом из передачи. Я рискнул взять угощение, хоть и опасался за желудок. Вроде бы сошло; значит, за пищеварение можно не беспокоиться, голодовка на нем не отразилась. А в остальном — время покажет.

В Новосибирске меня настигла вторая за время отсидки амнистия, юбилейная (до нее — ”химическая”). А в Иркутске догнала ”женская” — в связи с Международным годом женщины. Естественно, ни одна из них меня не касается: я не женщина, в войне не участвовал, к тому же пятая судимость. Но и никто, никто из политических не будет амнистирован — ни участники войны, ни даже женщины. И пятилетнему сыну Нади Светличной и дочке Ирины Калынец еще ждать и ждать своих мам.....

На Иркутской пересылке я снова первым долгом влип в историю, хоть к этому и не стремился. После нескольких часов стояния на ногах в душном боксе мой попутчик упал на пол, то ли потеряв сознание от духоты, то ли из-за боли — его еще в вагонзаке схватил приступ радикулита. Чувствуя, что и сам скоро свалюсь, я пробился к двери и начал методично стучать в нее сапогом. Подошел надзиратель:

— Выведу — не обрадуешься!

Да выводы, черт с тобой, хуже не будет! И я снова бухаю в дверь — прямо в него. Ушел, пришел с дежурным офицером:

— Выходи! Почему безобразничаешь? Карцера захотел? На этап не отправим, — и тому подобное.

Но все-таки, услышав от меня, что кто-то в боксе потерял сознание, капитан заглянул в глазок и распорядился забрать больного в медчасть, а из остальных половину вывести в другой бокс. При мне надзиратель отпер соседний бокс — чудо! Совершенно пустой! Может, и другие в этом коридоре такие

же? А нас держали как кильку в банке столько часов!

Больной после укола снова был водворен к нам. Он тоже был ссыльный, алиментщик. Вместе мы сидели в Иркутске, вместе ехали этапом до Чуны, вместе нас выпихнули из Чунской милиции с наказом немедленно трудоустроиться. А месяца через три я встретил его в Чуне на улице, несколько даже растерянного:

— Кончился мой ссылка! Получил инвалидность, а она освобождает от ссылки.

Моя же — только началась еще.

В Чунском отделении милиции на столе у коменданта я увидел сопроводительный формуляр, наклеенный на пакет с моим "делом". Крупным типографским шрифтом вверху набрано:

СКЛОНЕН К САМОУБИЙСТВУ

Неправда! У меня никогда не было мысли покончить с собой. Зачем же эта надпись? Может, чтобы, если голодовка в этапе меня доконает, иметь оправдание: мол, сам себя довел, к тому и стремился?

Формуляр перекрещен по диагонали двумя широкими красными полосами. Знакомый знак, он перекочевал сюда из моего старого лагерного "дела". Его значение: СКЛОНЕН К ПОБЕГУ. Надо же! За арестантом, который тянет голодовку почти два месяца, нужен глаз да глаз: "склонен к побегу". Зато о голодовке в формуляре ни слова.

Выпроваживая нас из милиции на улицу (ночлега нет — ищи сам; денег нет — перебьешься), комендант напутствует:

— Немедленно устраивайтесь на работу!

А направление на работу мне уже выписано — на лесозаготовительный комбинат. Здесь я отработывал свой надзор в 70-м году, у меня здесь много знакомых. И рабочее место определено — подавать вручную к пиле сырой шестиметровый брус. Не всякому здоровому по силам. Для меня это не ново: в Пермских лагерях бригадиру было приказано использовать Марченко на самых тяжелых работах.

Я иду на территорию ЛЗК, и меня не узнают знакомые. Оглядываются на отросшую в этапе черную бороду и гадают: Откуда? Из лагеря? Из больницы? С того света?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если бы кто-то спросил у меня совета, объявлять ли ему голодовку, я бы сказал: "Нет". В принципе я против голодовки, как и против самоистязания в любой форме. И такое мое отношение не есть результат личного опыта марта-апреля 1975 года. Оно сложилось раньше, я был против голодовки до, после и даже во время своей голодовки. Личный опыт добавил только то, что теперь я на самом деле ощутил и последствия этой губительной акции. Полгода спустя я чувствую себя инвалидом, неспособным работать (хотя это не признано врачами в ссылке), и боюсь, не навсегда ли такое состояние.

И все-таки я не могу себя осудить за то, что, поддавшись эмоциям, объявил и долго держал голодовку. Более того, я не зарекаюсь, что в какой-то ситуации не пойду на нее снова. Чувство бессильного протеста, когда тебя держат за горло, может толкнуть на любые крайности. Таким же сильным может оказаться и сочувствие другому человеку, другим людям, доведенным до отчаяния.

Политические голодовки в СССР стали массовым явлением. Известия о них (но не обо всех!) прорываются через колючую проволоку и через тюремные стены. Но, к сожалению, чем больше таких известий, тем менее острой становится реакция на них общественного мнения. Люди воспринимают факт — но забывают о его причинах. И не представляют себе его последствий.

Причина голодовки — крайняя степень жестокости и бесчеловечности, беззаконие и произвол властей.

Последствия голодовки — утрата здоровья, угроза жизни. Я начал голодовку "с воли", держал ее около двух месяцев, через месяц после снятия оказался в домашних условиях — и то мое здоровье подорвано. А Валентин Мороз держал голодовку *почти пять месяцев*, начал ее *после трех лет тюрьмы*, закончил в тюрьме же, там он и сейчас. В условиях лагеря держали длительные голодовки инвалид Иван Светличный и другие политзаключенные Пермских лагерей. Политзаключенные женщины в Мордовии несколько раз объявляли голодовки, и после них для поправки здоровья заключались в карцер и в БУР!

Помните: голодовки кончились, но жизнь голодавшего в опасности.

Помните: политическая голодовка — свидетельство преступного отношения властей СССР к правам своих граждан и к самой их жизни.

Я не берусь что-либо советовать. Но мне кажется, что долг порядочного человека, гражданина СССР, — не оставлять без внимания обстоятельства, которые доводят их соотечественников до такой крайности, как голодовка.

Мне кажется, что международное сотрудничество с советским режимом в области культуры и экономики без активного влияния на его обращение со своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. Наличие политзаключенных в стране, а тем более — их трагическое положение в наши дни уже не является внутренним делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами понижают нравственный уровень всего человечества. К тому же эти свойства — жестокость, бесчеловечность, власть силы — имеют тенденцию распространяться по всему миру.

10 октября 1975 года

пос. Чуна, Иркутская область

ИМЕНЕМ

**РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Сборник документов по делу Анатолия Марченко

”Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его человеческое достоинство обращению или наказанию”.

”Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом”.

*– Статьи 5 и 10 Всеобщей декларации
прав человека.*

**КРАТКАЯ ЗАПИСЬ
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
31 МАРТА 1975 ГОДА**

В Калужском городском народном суде

В 10 часов утра в зал впустили всех желающих присутствовать на процессе: около двадцати друзей и родных Марченко приехали из Москвы, несколько человек из Тарусы и несколько незнакомых калужан пришли, услышав о процессе по зарубежному радио. Всего в зале человек тридцать, не считая вызванных судом свидетелей.

Конвой вводит Анатолия Марченко: руки в наручниках заведены назад, лицо измученное. Походка нетвердая; около скамьи подсудимых Марченко покачнулся, так что конвоиру пришлось поддержать его, чтобы не упал. *ИДЕТ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ГОЛОДОВКИ.*

У скамьи подсудимых конвоир снимает с Марченко наручники: Марченко криво улыбается и говорит в зал: "Вот как теперь нашего брата водят!"

На Марченко поверх свитера надета телогрейка: видно, что его знобит. Друзья замечают, что он то и дело облизывает пересохшие губы.

Из зала: Толя, ты пить хочешь?

Марченко: Во рту все время сохнет.

Из зала (конвою): Дайте ему напиться!

Конвой: Судья скажет — дадим.

Из зала: Дайте же человеку воды! Ведь голодовка!

Конвой: Пусть он сам попросит. Не нарушать порядок!

Комендант суда: Суд идет. Прошу всех встать.

Председательствующий: Судебное заседание по обвинению Марченко Анатолия Тихоновича в преступлениях, предусмотренных ст. 198² УК РСФСР, считаю открытым. Дело рассматривает судебная коллегия в составе: председательствующий — Левтеев, народные заседатели — Заикин и Блинов при секретаре, в присутствии адвоката Грибкова. Оглашаю свидетелей: Кузиков, Фоменков, Архипов, Старухина, Черемнинов, Трубицын. Свидетелей прошу покинуть зал суда.

Подсудимый, встаньте. Ваша фамилия, имя, отчество?

Марченко: Марченко Анатолий Тихонович, 1938 года рождения, уроженец г. Барабинска Новосибирской области, русский, из семьи рабочих, образование 8 классов, живу в г. Тарусе Калуж-

ской области по ул. Луначарского д. 39, к моменту ареста не работал. Женат. Имею сына двух лет.

Прокурор: Судимы ли? Перечислите судимости.

Марченко: Отказываюсь отвечать.

Прокурор: Была ли Вам вручена копия обвинительного заключения? Когда?

Марченко: Перед тем, как везти на суд, у меня в тюрьме все отобрали — и обвинительное заключение, и записи по делу...

Прокурор: Я Вас об этом не спрашиваю. Я спрашиваю, вручили ли Вам копию обвинительного заключения?

Марченко: А я заявляю, что меня обыскали и отняли все бумаги. Мне даже не сказали, что везут на суд.

Прокурор: Я у Вас не отнимал.

Марченко: Вы же видите — у меня ничего нет...

Прокурор: Это Ваше дело. У нас есть расписка, что копия обвинительного заключения Вам вручена своевременно*. Есть ли отвод составу суда?

Марченко: Я не доверяю суду: под видом дела о надзоре меня здесь судят совсем за другое. Часть материалов в деле предоставлена госбезопасностью; на обыске по делу о надзоре изъяты все мои бумаги, черновики, никакого отношения к надзору не имеющие. Суд судит меня за мои убеждения, а не за нарушение надзора. Я не доверяю такому суду. Но не именно этому составу суда, а советскому суду вообще.

Прокурор: Значит, отвода составу суда нет. Имеете ли к суду ходатайства?

Марченко: Я отказываюсь от предлагаемого судом адвоката. Я ничего не имею против этого человека, не подвергаю сомнению его профессиональные или личные качества. Но я не хочу, чтобы он меня защищал. Прошу в качестве защитника допустить мою жену Ларису Иосифовну Богораз, она находится в зале суда.

Прокурор: Имеется аналогичная просьба от жены подсудимого — допустить ее в качестве защитника**. Мнение адвоката?

* УПК РСФСР, ст. 236: ... судья обязан обеспечить... подсудимому... возможность ознакомиться со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения.

Ст. 237: Подсудимому должна быть вручена судом копия обвинительного заключения... .

** См. Примечание 1 к этому разделу на стр. 81.

Адвокат: Поскольку подсудимый от меня отказывается и отказывается даже иметь со мной беседу о деле, прошу этот вопрос разрешить совещанием судебной коллегии.

Суд удаляется на совещание.

В это время в зал заглянула личность в штатском — человек, и до этого и в дальнейшем суетившийся в коридоре с видом распорядителя. Он поманил коменданта в коридор. Вернувшись, комендант обратился к публике:

Комендант: Вести записи и фотографировать в зале суда запрещается. Если заметим — будем удалять из зала.

Из зала: Не имеете права!

На каком основании?

Только силой отберете записи!

Комендант: Повторяю, если заметим, что кто-то ведет записи, будем отбирать и удалять из зала за нарушение порядка.

Суд идет, прошу всех встать!

Прокурор: Судебная коллегия постановила: ходатайство Марченко о допуске его жены в качестве защитника отклонить, поскольку здесь присутствует квалифицированный адвокат Грибков. Защитником подсудимого Марченко суд назначает адвоката Грибкова.*

Марченко: Категорически отказываюсь от навязываемого мне судом адвоката.

Суд не принимает отказ Марченко во внимание. Председательствующий зачитывает **ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** дело возбуждено Тарусской милицией, следствие вела Тарусская прокуратура. Следствие дает Марченко отрицательную

* УПК РСФСР ст. 47: ... По определению суда или постановлению судьи в качестве защитников могут быть допущены близкие родственники и законные представители обвиняемого...

ст. 48: Защитники из числа лиц, перечисленных в ст. 47 настоящего Кодекса, приглашаются обвиняемым...

ст. 50: Обвиняемый вправе в любой момент производства по делу отказаться от защитника...

Отказ от защитника, заявленный... обвиняемым, который в силу своих физических... недостатков не может сам осуществлять свое право на защиту, не обязателен для суда... (У Марченко — 80% потери слуха. — Сост.)

ст. 47: ... По делам о преступлениях... лиц, которые в силу своих физических... недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, защитник допускается к участию в деле с момента предъявления обвинения... (В данном случае о допуске защитника сообщили по окончании предварительного следствия. — Составитель.)

характеристику — неоднократно судим (перечисляются судимости), по заключению из лагеря, на путь исправления не встал, находился под надзором в Чуне Иркутской области, по прибытии в 1972 году в Тарусу вел антиобщественный образ жизни (имел предостережение от КГБ), не имел постоянного места работы. В мае 1974 года милиция предупредила Марченко о необходимости трудоустроиться в течение месяца. 23 мая милиция приняла постановление об учреждении над Марченко административного надзора. Предусмотрены следующие надзорные ограничения: 1. Быть дома с 20 часов до 8 часов утра следующего дня. 2. Запрещается посещать ресторан, пивные бары, Дом культуры, дом отдыха им. Куйбышева — в любое время суток. 3. Запрещается выезжать за пределы Тарусского района без разрешения милиции. 4. Каждый понедельник, четыре раза в месяц, к 18 часам являться в РОВД для регистрации. Надзор был установлен сроком на год.

Находясь под надзором, Марченко злостно нарушал правила и ограничения: систематически не являлся на регистрацию, выезжал без разрешения за пределы района и т.д. В период с 11 октября по 4 декабря 1974 г. совершил 9 нарушений (следует перечисление: такого-то октября не был дома после 20 часов, такого-то — то же самое и т.д.; все отсутствия приходятся на нерабочие дни). 7-го ноября после 20 часов не находился дома, за что на Марченко народным судьей наложено административное взыскание — штраф. За неявку на регистрацию 25 ноября оштрафован повторно. 9-го декабря Марченко вновь не явился на регистрацию. 11-го декабря он уволился с работы и уехал в Москву.

Во время следствия Марченко отказался от дачи показаний. Вина его подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. На основании вышесказанного Марченко обвиняется в злостном нарушении надзора, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 198² УК РСФСР.*

Прокурор: Подсудимый Марченко, что Вы можете сказать по поводу предъявленных Вам обвинений?

Марченко: Вы меня лишаете возможности защищаться: у меня

* См. юридический комментарий.

изъяли все мои записи по делу, обвинительное заключение. Вы навязали мне защитника, от которого я отказался. Это не суд, а расправа. Я отказываюсь участвовать в этом суде. Но оставляю за собой право на последнее слово.

С момента, когда Марченко заявил, что у него отобрали все бумаги по делу, т.е почти с самого начала судебного заседания, председательствующий Левтеев обращается к подсудимому нетерпеливым, раздраженным и пренебрежительным тоном — с позиции силы. Не дослушивает его, чаще всего — просто игнорирует его заявления. Оба заседателя неподвижны и безгласны на протяжении всего процесса. Защитник молчит, опустив голову в бумаги.

Во время перерыва Л. Богораз и Н.Кравченко подходят к защитнику и подают ему свои заявления: обе просят вызвать их на суд в качестве свидетельниц по эпизоду 7-го ноября; они утверждают, что Марченко в этот вечер был дома. Адвокат отказывается принять у них заявления: "Подсудимый отказывается от моих услуг". — "Но Вы же не отказались, Вы приняли на себя функции защитника, так выполняйте их!" — "Пусть подсудимый сам ходатайствует, чтобы вас вызвали". — "Мы к Вам обращаемся, как к защитнику, Вы обязаны..." — "Пусть Марченко сам ко мне обратится".*

Разговор происходит в полушаге от скамьи подсудимых, адвокат говорит так, чтобы Марченко его слышал. Марченко молчит.

Л. Богораз (адвокату): Скажите хоть конвою, чтобы Марченко воды дали!

Конвоиры выгоняют Богораз и Кравченко в коридор; свои заявления они все же оставляют на столе у адвоката (во время следующего перерыва такое же заявление подает И.А.Богораз, на этот раз адвокат принимает его молча).

В коридоре во время перерыва:

— Невозможно здесь присутствовать: как будто при тебе бьют связанного, а ты смотришь.

— Действительно, не суд, а расправа.

* УПК РСФСР, ст. 51: Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого и смягчающих его ответственность ... защитник вправе: ... представлять доказательства; заявлять ходатайства; ... приносить жалобы на действия и решения следователя, прокурора и суда.

– Слушайте, а может, действительно все поднимемся и уйдем в знак протеста... (Т.С. Ходорович).

– А Толя?

В комнате в конце коридора сидит некий человек в штатском, к нему то и дело бегают распорядитель и потом передает указания коменданту суда.

После перерыва – допрос свидетелей.

Каждый свидетель предупреждается председательствующим: "Вы предупреждаетесь об ответственности за дачу ложных показаний. За дачу ложных показаний предусматривается уголовная ответственность". Свидетель подписывается, что предупрежден, затем ему задается вопрос: "Что вы можете сказать по данному делу?"

Кузиков Михаил... ... сотрудник Тарусской милиции: Знаю Марченко, как лицо, ранее судимое. С 15 мая над ним был установлен надзор, я должен был контролировать его выполнение. 7-го ноября я в пятом часу видел, как Марченко садился в автобус, который идет на Серпухов. Поэтому я в 20 часов 20 минут с двумя понятыми – нашими милиционерами – пришел к дому Марченко проверять его. Я позвонил. Мужской голос из-за приоткрытой двери спросил: "Кто?" Я сказал, что милиция. Тот же голос ответил, что милиции здесь делать нечего. Мы немного подождали, я понял так, что Марченко нет дома, уехал. И ушли. Потом я написал рапорт.

Прокурор: Вы голос Марченко хорошо знаете? Это был его голос?

Кузиков: Голос знаю хорошо. Это был не его голос.

Адвокат: Это был один такой эпизод, что Вас не впустили в дом?

Кузиков: Нет, были такие эпизоды. Марченко и раньше не впускал в дом.

Адвокат: Вы утверждаете, что голос не Марченко?

Кузиков: Да.

Фоменков Виктор Яковлевич, Таруса, дружинник: 7-го ноября мы с Кузиковым пришли к дому Марченко проверять. Кузиков позвонил, ему из-за двери ответили. Мы постояли и ушли.

Прокурор: Сколько было времени?

Фоменков: Девятый час.

Прокурор: Что ответил голос?

Фоменков: "Милиции делать нечего".

Архипов В. ... Николаевич, Таруса, милиционер: Я дежурил в понедельник в райотделении. Число сейчас не помню. Мне сказали, что сегодня должен прийти отметить Марченко. Мое дежурство прошло, но он не явился.

Прокурор: В какие часы Вы дежурили?

Архипов: С 9-ти до 9-ти, сутки.

Прокурор: На следствии Вы показали, что это было 25 ноября?

Архипов: Да, тогда я помнил.

Старухина Людмила Николаевна, Таруса, начальник участка Горгаза, где в последнее время работал Марченко: Я знаю его недавно, так как я на этом месте работаю с сентября. Меня предупреждали, что он под надзором. Марченко работал хорошо, ни от какой работы не отказывался.

Прокурор: Какой у Вас с ним был разговор о 7-м ноября?

Старухина: Я собиралась назначить его дежурным на праздники, знаете, как это бывает во всех учреждениях на праздники. И спросила его, что он собирается делать. Он сказал, что, может, в Москву поедет, может, к нему гости приедут. Я спросила, а как же с милицией, он на это что-то невнятное ответил... Не помню... Когда я сказала о возможном дежурстве, он ответил: "Дежурить — так дежурить".

Прокурор: А потом?

Старухина: Потом выяснилось, что в нашей организации дежурных назначать не надо.

Трубицын Иван Степанович, Москва, милиционер: Я обслуживаю участок, где живет жена Марченко. Я эту семью знаю уже 15 лет. В июне узнал, что Марченко под надзором. Он систематически приезжал к семье, и мне неоднократно приходилось с ним встречаться. 7-го ноября я пришел в штаб дружины, там я должен был проводить инструктаж; это в этом же доме. Я пришел туда в 18 часов, а в 22 часа мне надо было на собрание, но до этого я зашел домой попить чаю. Когда я шел домой — а живу я в том же подъезде, что и жена Марченко — я подошел к лифту и увидел Марченко, который в это время открывал ключом дверь их квартиры. Я еще подошел к нему, поздравил его с праздником, в ответ на что он пробурчал что-то непонятное. Я спросил, есть ли у него разрешение, и он ответил, что есть. Потом я узнал, что он в милицию не ходил отмечаться, и понял, что он меня обманул. На другой день я встретил его во дворе: шли он, жена и сестра. 9-го я то-

же видел, как он гулял во дворе с ребенком, жены не было дома. Я взял показания, что он находится в Москве. А писать объяснение он отказался.

Черемнинов Дмитрий Васильевич, Таруса, сосед Марченко: 7-го я подходил к Марченко, дело было часов в 11. Я приглашал его к нам чайку попить, а он отказался — у меня, мол, гости.

Прокурор: После этого Вы видели Марченко?

Черемнинов: У меня были гости, а вечером мы рано легли, в этот день я его больше не видел. 8-го я был у сестры, 9-го тоже весь день был в гостях, а 10-го утром я уехал, так что их больше не видел.

В коридоре во время перерыва.

Свидетель Кузиков — свидетелю Трубицыну:

— Если бы еще по 150 принять, разговор лучше пошел бы.

Незнакомый калужанин:

— Там внизу две машины стоят, в одной полно шпиков. Такого здесь сроду не было. За что судят-то?

А.Д. Сахаров и В.Лашкова у входа в зал пытаются передать Марченко воду. Конвоир, охраняющий вход в зал, не берет:

— Там есть вода. Попросит — дадим.

А.Д.Сахаров убеждает конвоира, что у голодающего постоянная жажда, что вода должна стоять около него, а не выдаваться по глотку.

— Может, вы боитесь, что я туда что-нибудь подсыпал? Может, отпить надо? Ну, смотрите, вот я пью. Передайте воду подсудимому.

— Не положено.

После перерыва — в руках у Марченко его бумаги: комендант суда принес и отдал.

Прокурор: Подсудимый Марченко, Вам предоставляется слово для объяснения по существу дела.

Марченко, очевидно, недослышал и считает, что ему дали последнее слово.

Марченко: В обвинительном заключении говорится о моей антиобщественной деятельности; в деле содержатся материалы, не имеющие никакого отношения к надзору. Среди материалов дела находятся тексты радиопередач "Немецкой волны", "Би-би-си", "Голоса Америки". Другие бумаги, изъятые у меня во время обысков, произведенных тем же КГБ, — мои черновики, которые "публицисты" из КГБ квалифицировали

как могущие послужить материалом для написания антисоветских произведений... После обыска еще в январе 1974 года меня вызвали в КГБ и прочли так называемое Предостережение, которое должно фигурировать в этом деле в качестве отягчающего обстоятельства ...

Председательствующий: Прошу придерживаться рамок обвинения.

Марченко: Я говорю по существу, все это есть в данном деле и в обвинении. Это все моя антиобщественная деятельность. Моя антиобщественная деятельность, о которой меня предупреждал КГБ, — это "Мои показания" и другие мои публикации на Западе о положении политзаключенных в нашей стране, которых здесь нагло именуют уголовниками. Среди политзаключенных мне пришлось провести не один год, я видел, как художников, писателей, ученых заставляют заниматься тяжелым, неквалифицированным трудом.

Прокурор: Суд делает Вам второе замечание. Не используйте свое положение для оскорбления советской власти.

Марченко: Я обращался не только к Западу, но и к общественности нашей страны. Я обращался в Советский Красный Крест. Мне ответили: так было — так будет. Это ответили наши "общественные деятели". А моя деятельность — антиобщественная: я вступался за людей, пребывающих в нечеловеческих условиях, которые сами не имеют возможности за себя заступиться.

Далее, уже после 1971 года, моя антиобщественная деятельность — это мои подписи под письмами в защиту В.Буковского, Л.Плюща и недавно арестованного Сергея Ковалева, мое письмо в защиту А.Амальрика. Вот что предъявлено мне в качестве антиобщественной деятельности — и ничего другого.

Остановлюсь собственно на надзоре. Обвинительное заключение утверждает, что надзор установлен по представительству исправительного учреждения: "на путь исправления не встал". Указ о надзоре гласит, что для установления надзора надо, чтобы у заключенного были неоднократные нарушения режима. У меня не было в лагере нарушений, точнее, было только одно нарушение, и то к моменту освобождения оно было снято. За две недели до окончания срока начальник режима сообщил мне, что нарушений режима за мной не числится и надзор за мной не будет установлен. Однако через пару дней меня взяли из лагеря, изолировали, а в день освобождения привели в комнату, где были какие-то типы в штатском, и объявили

об освобождении под надзор. Меня под конвоем привезли в Чуну и поставили под надзор. Я тогда писал в прокуратуру Иркутской области. Но все заявления остались без ответа.

Когда через два года в Тарусе мне снова объявили о надзоре, тоже ссылались на нарушения режима в лагере. В деле характеристики из лагеря нет, а по окончании нынешнего следствия я заявил ходатайство: запросить характеристику из лагеря. Ходатайство отклонили. Этот надзор также установлен не Тарусской милицией, а КГБ: после обыска в ноябре 1973 года (ордер подписан генералом КГБ Волковым, обыск по делу №24 — о "Хронике текущих событий"), после предостережения, объявленного в КГБ в Москве.

Устанавливая надзор, мне сказали, что, мол, я долго не работал. К этому времени я не работал месяц и 23 дня; я не уволился с работы, а был уволен в связи с окончанием отопительного сезона (я работал кочегаром). Тем не менее, было сделано предупреждение о необходимости трудоустройства, но не до установления надзора, а через несколько дней: так что не надзор после предупреждения о трудоустройстве, а наоборот.

На сей раз я сделал заявление о незаконности надзора и передал его на Запад: я не стал обжаловать у нас в прокуратуру, так как уже не надеялся на какую-либо реакцию советских органов.

Хотя я и считал надзор незаконным, но я пытался соблюдать его. Я не хотел вступать в конфликт с уголовным кодексом, не хотел давать повод посадить меня; я думал о своей семье. Поэтому я подчинился надзору и не нарушал его правил. Ни следствие, ни суд не поинтересовались тем фактом, что до 11 октября я соблюдал условия надзора и прекратил его соблюдение, только окончательно удостоверившись в его издевательской форме. С конца лета на все мои просьбы, связанные с заботами о семье, я получал отказ. Я просил разрешить мне встретить на вокзале в Москве престарелую и к тому же неграмотную мать — отказали. Навестить в Москве больного ребенка — отказ. Проводить старуху-мать — отказ. Когда мой сын заболел и было подозрение на скарлатину, я просил разрешения отвести его в Москву, в то время в Тарусе не было педиатра. Мне в течение 4-х дней начальник милиции Володин морочил голову: придите завтра, придите после обеда; а на четвертый день прямо сказал, что не получил ответа. Кто же, интересно, как не начальник милиции, должен дать ответ на

такую просьбу? Ведь закон гласит, что надзор осуществляет милиция. Я зашел еще раз. Заместитель начальника Лунев сообщил мне об отказе. Вот тогда я заявил ему, что отказываюсь соблюдать надзор, и отвез жену с больным ребенком в Москву. После этого дикого случая я считал себя свободным от надзора. Я сделал заявление о том, что в своей стране я поставлен вне закона. Это заявление адресовано мировой общественности. Человеку в одиночестве трудно противостоять шайке бандитов, но еще труднее обороняться от гангстеров, именующих себя государством. Я не раскаиваюсь в своем поступке. Я люблю свободу, но если я живу в государстве, где забота о семье, о родителях, любовь и привязанность к ребенку — криминал, то я предпочитаю тюремную камеру. Где еще меня судили бы за такие поступки? Меня поставили перед выбором: отказаться от семьи или стать преступником.

Председательствующий многократно прерывает Марченко. — Так называемый дисциплинированный советский человек на моем месте, получив отказ, вернулся бы домой, скорее всего напился бы, поматерил советскую власть и подчинился бы запрету. Видимо, из меня хотят сделать такого советского человека (показывает при этом на свидетеля Трубицына), тряпку, с которой позволительно делать все что угодно. Но я уже отказался от такого сомнительного звания. 10 декабря я направил Подгорному заявление об отказе от советского гражданства.

Конечно, это решение... Это капитуляция перед всемогущим КГБ. Больше года назад мне передавали из КГБ, чтобы я уезжал из страны, а то мне будет хуже.

Председательствующий снова перебивает. Во время своей речи Марченко несколько раз просит пить. Конвоир, подавая ему стакан, каждый раз убирает его на подоконник, так что для того, чтобы смягчить пересыхающее горло, Марченко снова и снова вынужден просить воду у конвоира.

— И вот я решил эмигрировать в США. Мне заявили, что если я буду настаивать на выезде в США, меня посадят и чтобы я ехал через Израиль. Данный суд — просто реализация этой угрозы.

Я не стал бы останавливаться на эпизоде 7-го ноября. После того, как я заявил в октябре, что не намерен соблюдать надзор, я не считался с его правилами. На этом эпизоде я оста-

навливаюсь только для того, чтобы показать, как фабрикуется это дело милицией.

Так вот. 7-го ноября я был дома. У нас были гости из Москвы, в частности, родители жены и Наталья Кравченко. В начале девятого позвонил Кузиков. Я приоткрыл дверь на цепочке и спросил: "Кто?" Кузиков сказал: "Анатолий Тихонович, не бойтесь, это милиция". Я ответил: "Милиции здесь делать нечего". И захлопнул дверь. Кузиков теперь показывает, что видел, как я уезжал из Тарусы. Как же это он даже не подошел удостовериться! В октябре, когда я отвозил семью, он не поленился погнаться за автобусом на автомобиле аж до самого Серпухова. А на праздник, когда нашему брату вообще запретили покидать место жительства, он почему-то удовлетворился увиденным и якобы дал мне уехать.

Трубицын нагло лжет: я с ним не только не пускался никогда ни в какие объяснения, но ни разу не разговаривал и даже не здоровался. Почему следствие не опросило московских соседей моей жены? Ведь невозможно не заметить семью с ребенком в коммунальной квартире, где общая кухня, общий туалет, ванная, прихожая.

8-го у нас в гостях были наши тарусские друзья Оттены. Но их также никто не удосужился опросить.

Когда меня штрафовали, я не слышал и не хотел слушать, за что. Позднее моя жена узнала. Тогда же, еще в декабре, она обращалась по этому поводу к прокурору. Но ни один из свидетелей вызван не был. Разве это суд?

Марченко садится. Публика аплодирует речи Марченко.
Адвокат: 25-го ноября и 9-го декабря Вы ходили на регистрацию?

Марченко: Нет.

Адвокат: Кто был у Вас в доме вечером 7-го ноября?

Марченко: Кроме меня и моей жены были родители моей жены — Иосиф Аронович Богораз и Алла Григорьевна Зимина и Наталья Кравченко.

Адвокат, ссылаясь на поданные ему заявления, ходатайствует о вызове в качестве свидетелей "родственника подсудимого Богораза Иосифа Ароновича и жены подсудимого Богораз-Брухман Ларисы Иосифовны, хотя они, как родственники, являются заинтересованными лицами". Просит вызвать также и Наталью Кравченко.

Суд, посоветовавшись, выносит определение: "Ходатайство

не удовлетворить, так как судом исследовались другие доказательства, а названные лица находились в зале во время судебного следствия”*

И.А. Богораз во время судебного следствия в зале не был, а Л.Богораз и Н.Кравченко, считая себя возможными свидетелями, просили рассмотреть их заявления до начала следствия.

Суд предоставляет Марченко последнее слово. Марченко несколько растерян: он считал последнее слово уже произнесенным. Он говорит, что не может больше стоять, и произносит несколько фраз сидя.

Марченко: Я уже все сказал. Данный процесс является давно обещанной мне расправой со стороны КГБ. Однако я ни о чем не сожалею. Не сожалею о том, что родился в этой стране, родился русским. Но, думая о судьбе моего двухлетнего сына, я обращаюсь ко всем людям во всем мире и прошу всех, кто может, помочь мне и моей жене с сыном выехать из СССР. Я ПРОДОЛЖАЮ ГОЛОДОВКУ, НАСТАИВАЯ НА ОТЪЕЗДЕ ИЗ СТРАНЫ.

Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Публику удаляют из зала. Но через несколько минут всем предлагают войти обратно, судебная коллегия поспешно занимает свои места.

Прокурор: Мы тут забыли... Мы не заслушали защитительную речь. Объявляю прения сторон.**

Адвокат: Мой подзащитный отказался обсуждать со мной дело. Из его пояснения в судебном заседании я понял, что он оспаривает эпизод 7-го ноября. Он категорически утверждает, что был дома, и ссылается на свидетелей. В суде заслушаны показания свидетелей Кузикова и Трубицына. Показания Кузикова не доказывают, что Марченко не был дома. Что касается показаний Трубицына, то Мое мнение — видимо, Марченко 7-го ноября был дома. Да, мое такое мнение! Что касается двух других нарушений, то Марченко их не отрицает.

* УПК РСФСР, ст.20: Суд... обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства. Суд не вправе перелгать обязанность доказывания на обвиняемого.....

** УПК РСФСР, ст. 295: После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию судебных прений.....

ст. 297: После окончания судебных прений председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово

ст. 299: Заслушав последнее слово подсудимого, суд немедленно удаляется на совещание для постановления приговора...

Я думаю, что, решая вопрос о наказании, вы учтете, что 1-е нарушение не доказано, а также учтете положительные качества Марченко.*

Прокурор: Подсудимый, не хотите ли еще что-нибудь сказать?

Марченко: Я ПРОДОЛЖАЮ ГОЛОДОВКУ, НАСТАИВАЯ НА ВЫЕЗДЕ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.

Суд вторично удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора.

Друзья Марченко в коридоре окружают адвоката: —Раз Вы считаете доказанными только два эпизода, Вы должны были требовать оправдательного приговора!....Вы что, закона не понимаете?

Адвокат: Я все понимаю, вы сами ничего не понимаете... Я сделал больше, чем мог!

Адвокат в большом волнении буквально убегает из коридора.

После постановления приговора в совещательной комнате председательствующий Левтеев в зале провозглашает ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Приговор в основном повторяет обвинительное заключение: снова перечисляются все судимости и нарушения, " в местах заключения на путь исправления не встал", после освобождения "вел антиобщественный образ жизни", будучи под надзором, "систематически нарушал", "вина Марченко подтверждается показаниями свидетелей" — перечисляются все свидетели, включая Старухину и Черемнинова. Эпизод 7-го ноября фигурирует в приговоре как доказанный.

Далее говорится, что Марченко Анатолий Тихонович признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 198² УК РСФСР; однако, принимая во внимание наличие у Марченко маленького ребенка, суд считает возможным применить ст. 43 УК РСФСР и назначить более мягкое наказание, что предусмотрено ст. 198², а именно: приговорить его к четырем

* См. Юридический комментарий, п.5

годам ссылки.* Содержать под стражей и освободить из-под стражи по прибытии на место ссылки**, считая день пребывания под стражей за три дня ссылки. Срок исчислять с момента заключения под стражу — т.е. с 26-го февраля.

Приговор может быть обжалован в семидневный срок.

Марченко, слушавший приговор сидя, собирает свои записки и говорит: "Мне остается разве что в Конгресс США обжаловать".

Т.С. Ходорович: "В знак протеста против несправедливого суда объявляю голодовку вплоть до окончания голодовки Анатолия Марченко в Калужской тюрьме или отмены незаконного приговора".

* УК РСФСР, ст. 43: Суд, учитывая исключительные обстоятельства дела и личность виновного и признавая необходимым назначить ему наказание *ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление, или перейти к другому, более мягкому виду наказания* может допустить такое смягчение с обязательным указанием его мотивов.

ст. 198² (санкции): наказываемся лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет или *исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года*.

Таким образом, наказание ниже низшего предела было бы — исправработы сроком меньше шести месяцев; более мягкий вид наказания, чем предусмотренные данной статьей исправработы, по кодексу — штраф. Ссылка же на два разряда выше, чем исправработы, а четыре года ссылки, по установленному кодексом соотношению, равны почти полутора годам заключения в тюрьме.

** УПК РСФСР, ст. 319 ... в случае осуждения к наказанию, не связанному с лишением свободы, суд, в случае нахождения подсудимого под стражей, освобождает его немедленно в зале судебного заседания.

11 октября 1974 года Анатолий Марченко заявил, что он отказывается подчиняться надзору и выполнять его правила. Он не только на словах, но и на деле восстал против закона о надзоре: уезжал из Тарусы, не спрашивая разрешения милиции, выходил из дому, считаясь только со своими насущными нуждами, а не с установленным милицией временем, и т.п. Сам Марченко полагал, что таким своим поведением даст достаточные основания для осуждения по ст. 198² и что если такой суд состоится*, то тем вернее он разоблачит жестокость и античеловечность закона о надзоре.

Точку зрения Марченко разделяют многие, даже и юристы: реальные нарушения, да плюс еще заявление — правовая защита невозможна, о а ех — ео ех, остается протестовать против самого закона. Не останавливаясь на разборе последнего, мы хотим показать ошибочность, юридическую неграмотность этой точки зрения в целом — для данного случая, но и для многих подобных (например, незаконно был осужден на год лишения свободы по ст.198² Борис Шилькрот, отбывший это наказание и затем эмигрировавший).

1. Заявление от 11 октября 1974 г. нарушает порядок обжалования постановлений органов управления: оно адресовано мировой общественности, тогда как жалобы на незаконность надзора и надзорной практики должны направляться прокурору (именно прокурору адресовал свои жалобы в аналогичной ситуации Александр Гинзбург — и по сей день не имеет ответа; так же и сам Марченко в 1971-72 годах). Во всяком случае, заявление Марченко не составляет преступления по ст. 198² (оно и не инкриминировалось, и в деле его нет).

УК РСФСР, ст. 198²: Злостное нарушение правил, предусмотренных Положением об административном надзоре органов милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, с целью уклонения от надзора, если оно совершено лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному воздействию за такие же нарушения, — наказы-

* Марченко не исключал и того, что его не будут судить — из соображений государственного престижа, нецелесообразности позорного процесса при условии гласности, но никак не из соображений законности.

вается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.

В обвинительном заключении и в приговоре перечислен длинный ряд "нарушений" А. Марченко за время с 11 октября 1974 г. до 10 января 1975 г. Большая часть названных нарушениями поступков Марченко формально нарушениями не является (как и те случаи, за которые был осужден Б.Шилькрот).

Постановление № 6 Пленума Верховного Суда СССР, п. 9: Под нарушением правил административного надзора следует понимать совершение поднадзорным действий, преследующих цель — уклонение от надзора... (впрочем, то же следует из текста самой статьи 198²).

Все отлучки Марченко из Тарусы (или отсутствие дома в установленное время) имели целью не уклонение от надзора, а общение со своим ребенком, помощь в уходе за ним, в уходе за больным тестем. Это было бы легко установить, запросив соответствующие справки из поликлиник в Москве и выслушав показания родственников. Ни суд, ни следствие вообще не интересовались этой стороной вопроса.

2. Следует отметить противозаконность установленных для Марченко ограничений.

Положение об административном надзоре, п. 1, 3: К лицам, в отношении которых устанавливается административный надзор, могут применяться следующие ограничения: а) запрещение ухода из дома в определенное время; б) запрещение пребывания в определенных пунктах района (города); в) запрещение выезда (или ограничение времени выезда) по личным делам за пределы района (города); г) явка в милицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц.

Перечисленные ограничения применяются в полном объеме или раздельно в зависимости от образа жизни, семейного положения, места работы и других обстоятельств, характеризующих личность поднадзорного.

(Из п. 1,1 того же Положения: Административный надзор не имеет целью унижение человеческого достоинства и компрометацию поднадзорного по месту его работы и жительства.)

Запрещение А. Марченко посещать в любое время кинозал, безусловно, унижает человеческое достоинство (как, впрочем, и безмотивное запрещение посещать ресторан и пивной бар).

Запрещение выезжать за пределы района — при том, что семья Марченко живет в Москве — не учитывает его семейного положения, и последствия этого противозаконного запрещения еще усугубились систематическими отказами на просьбы Марченко об отлучках по семейным обстоятельствам. Свидетельница Старухина показала на суде, что ее предупреждали о надзоре над Марченко; суд не поинтересовался, кто и зачем предупреждал ее. Нам известно: милиция потребовала от Старухиной, чтобы она не посылала Марченко в Калугу за газовыми баллонами, т.к. он поднадзорный. А эта работа являлась основной служебной функцией Марченко.

Противозаконные ограничения, установленные для Марченко, и, тем более, отказы на его законные мотивированные просьбы сделали невозможной более или менее нормальную жизнь и спровоцировали Марченко на протест против надзора.

Но ни в каких законодательных актах противозаконность установленных ограничений не признана достаточным мотивом для вынесения оправдательного приговора.

3. Среди перечисленных в обвинительном заключении и в приговоре противоправных действий Марченко нарушениями надзора формально могут считаться неявки на регистрацию — он не ходил на отметку исключительно в знак протеста против надзора, что можно приравнять к стремлению уклониться от надзора. Таких неявок с 11 октября 1974 г. по 10 января 1975 г. набирается как раз 14 — более чем достаточно для признания виновным по ст. 198² (если бы два именно таких нарушения были отмечены административным взысканием и если бы в остальном все было законно). Итак, для характеристики законодательства в отношении надзора: трижды не поставил свою подпись в милицейском листке — и это в маленьком городке, где тебя десять раз на дню милиционер встретит у колонки с водой, у хлебного магазина, просто на улице — *законно* получай свои два года лагерей (как милость — четыре года ссылки)!

По непонятной причине административным взысканием отмечена только одна неявка Марченко на регистрацию (вместо необходимых двух). Другое нарушение, за которое Марченко был оштрафован и которое, таким образом, легло в основу обвинительного приговора, сфабриковано на основании ложного доноса и ложных показаний на следствии и в суде милиционеров Кузикова и Трубицына. Об этом эпизоде — см. ниже.

4. Вопрос о законности и обоснованности установления над Марченко надзора судом не обсуждался.

Постановление № 6 Пленума Верховного Суда СССР, п. 2: ... суд обязан при рассмотрении уголовных дел и материалов о нарушении правил надзора проверять законность и обоснованность его установления...

В обвинительном заключении (как и в приговоре) в общем виде упоминаются неоднократные предупреждения милиции относительно антиобщественного поведения Марченко, предостережение, вынесенное ему в КГБ, предупреждение о необходимости трудоустройства. Нигде не упоминается конкретное предупреждение о возможности установления надзора.

Постановление № 6 (то же), п. 5: *Применение административного надзора на основании материалов органа милиции в случае систематического нарушения общественного порядка и правил социалистического общежития может быть признано обоснованным лишь при наличии письменного предупреждения о возможности установления в отношении лица административного надзора..*

В деле нет (и не может быть) — и на суде не фигурировали — никаких материалов о не то чтобы систематическом, но о единичном нарушении Марченко "общественного порядка и правил социалистического общежития". Имеется предупреждение о необходимости трудоустройства (и то незаконное, поскольку перерывы в работе ни разу не достигали установленных законом 4-х месяцев) — это предупреждение упоминается в обвинительном заключении. Упоминается также Предостережение, вынесенное в КГБ. При обсуждении практики применения судами законодательства об административном надзоре Пленум Верховного Суда СССР 5-го июля 1974 г. специально отметил, что предупреждение о необходимости трудоустройства не является законным обоснованием для установления надзора, оно предупреждает о возможности ответственности совсем другого рода (очевидно, то же должно относиться и к Предостережению о возможности привлечения по 70-й статье). Письменного — а равно и устного — предупреждения о возможности установления административного надзора Марченко не получил.

Собственно, одного этого обстоятельства достаточно:

Постановление № 6 (то же), п. 2: ... *В случае, если будет*

установлено, что такой надзор был учрежден... необоснованно, то материал прекращается производством, а по уголовному делу постановляется оправдательный приговор. (Подчеркнуто везде мной. — Сост.)

5. Особо выделим эпизод, касающийся 7-го ноября. Дело в том, что именно этот эпизод обнаруживает предвзятость всех органов власти, а также и суда в отношении дела Марченко и предрешенность обвинительного приговора. Это обычно, что в деле об административном надзоре суд *не* рассматривает вопроса о законности установления надзора, *не* анализирует, являются ли допущенные отступления от ограничений нарушениями надзора и законны ли сами наложенные ограничения — недаром Пленум отмечает, что "в деятельности судов по рассмотрению дел и материалов данной категории имеются недостатки и допускаются ошибки". Как правило, суд только устанавливает, имели ли место три "нарушения" надзора (— отступления от надзорных ограничений). В деле Марченко суд не пытался выяснить, что было 7-го ноября на самом деле; более того, суд старательно уходил от выяснения, опасаясь, как бы не рухнуло старательно выстроенное здание обвинения. Следствие и суд заранее располагали материалами, ставящими под сомнение "нарушение" 7-го ноября: заявление Л.Богораз прокурору Тарусского района (от 1 декабря 1974 года) и заявление Л.Богораз судье Левтееву (от 27 марта 1975 года). В обоих заявлениях названы свидетели того, что Марченко 7-го вечером был дома. В обычном случае искать свидетелей защиты суд не стал бы, но уж когда сами добиваются!.. А здесь — заявления с просьбой вызвать свидетелями поданы тремя лицами до начала заседания — и не приняты; ходатайство казенного защитника (! "Я сделал больше, чем мог") отклонено.

Зато в обратном направлении, для доказательства вины, приняты чрезвычайные меры:

В первоначальном рапорте Кузикова говорилось только, что Марченко дома не был. Ответ прокурора Юлина Л.Богораз (от 11 декабря 74 г.) даже так представляет дело: "... они не могли по голосу разговаривавшего с ними через дверь мужчины узнать, и он не назвал себя, кто он есть. Данный факт *нарушения прав работника милиции Кузикова при осуществлении гласного надзора со стороны поднадзорного Марченко был расценен, как нарушение надзора...*", т.е. был дома, да дверь

не открыл (то ли сам не открыл, то ли неизвестный мужчина). С течением времени появился и серпуховский автобус, и голос точно не Марченко. И выплыл откуда-то — сам ли пришел? вызван ли вместо соседей по квартире? — свидетель Трубицын, который и Марченко в этот день видел в Москве, и его жену, и даже ребенка, здорового, на прогулке.

Любопытны показания Старухиной. Она давала Марченко служебную характеристику — что это ей вздумалось излагать разговор о 7-м ноября? Следователь спросил? Как он знал, что был разговор? Ведь сам эпизод относится к нерабочему дню, откуда же начальнице знать, был ли Марченко в Москве или в Тарусе. Показания Л.Богораз проясняют дело: Старухина не о дежурстве говорила, а любопытствовала, и Марченко верно понял ее, сказав: "Передай в милиции, что буду дома". Сначала понадобилась информация, а потом пригодился и сам информатор в качестве свидетеля.

Похоже, что все, начиная, разумеется, с самих лжесвидетелей и кончая председателем судебной коллегии Левтеевым, *знали*: 7-го ноября нарушения не было. Можно говорить о заведомо ложных показаниях (ст. 181 УК РСФСР), (Кузиков, Трубицын), о заведомо неправосудном приговоре (ст. 177 УК РСФСР) (судья Левтеев) — но прокурор г. Калуги Шарфанов, "ознакомившись с материалами уголовного дела, ... основания для принесения протеста или привлечения к ответственности других лиц" не находит.

ПРИМЕЧАНИЕ К СТР. 62

В Калужский городской народный суд от гр-ки Богораз-Брухман Ларисы Иосифовны, жены подсудимого Марченко Анатолия Тихоновича (адрес Богораз-Брухман Л.И.: Москва, Ленинский проспект 85, кв. 3. Тел. 134-68-98).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне свидание с мужем, подсудимым Марченко Анатолием Тихоновичем, 1938 г.р. (содержится в следственном изоляторе № 1 г. Калуги) для решения вопроса о его защите в суде. Слушание его дела назначено на 31-е марта.

27 марта 1975 г.

Л.Богораз

* * *

РСФСР
Министерство юстиции
Калужский городской
Народный суд
Калужской области
27 марта 1975 года

Гр-ке Богораз-Брухман Л.И.

На Ваше заявление по поводу разрешения на свидание сообщая, что свидание с мужем Марченко А.Г. Вам может быть предоставлено после рассмотрения дела.

*Председатель Калужского городского
народного суда*

(С.Левтеев)

* * *

*В Калужский городской народный суд
от гр-ки Богораз-Брухман Л.И.
(г. Москва, Ленинский проспект 85,
кв. 3. Тел. 134-68-98).*

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня в качестве защитника по делу моего мужа Марченко Анатолия Тихоновича, обвиняемого по ст. 198² УК РСФСР. Дело назначено к слушанию на 31 марта 1975 года.

Мне известно, что в соответствии со ст. 47 УПК РСФСР я могу выступать защитником мужа; я имею общую нотариальную доверенность мужа на представление всех его интересов. Сам Марченко А.Г. не имеет возможности защищать себя, т.к. у него потерян слух на 80% — это неоднократно установлено медицинскими освидетельствованиями, что подтверждается имеющимися справками.

Одновременно прошу вызвать в суд свидетелями:

1. Богораз Иосифа Ароновича (Москва, Кадашевская наб. 11, кв. 12);
2. Зимину Ольгу Григорьевну (проживает там же);
3. Кравченко Наталью;
4. Петрову Гали Георгиевну (Москва, ...).

Они могут подтвердить, что весь день 7-го и 8-го ноября 1974 года Марченко безотлучно находился дома — следовательно, постановление Тарусского народного судьи Кречетовой от 18 ноября о наложении на него административного взыскания за нарушение надзора является неправильным, а значит, и возбуждение уголовного дела по ст. 198² не имеет достаточных оснований. Когда мне стало известно, что штраф наложен за это мнимое нарушение, я сразу же подала об этом заявление в Тарусский народный суд; на мое заявление имеется ответ прокурора Юлина.

27 марта 1975 года

(Л.Богораз)

**МАТЕРИАЛЫ
К ГРАЖДАНСКОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ**

**1. Свидетельство Гали Георгиевны Петровой,
соседки Марченко (Москва, Кропоткинский пер. 24, кв.3)**

Все лето и осень я, как правило, провожу в г. Тарусе Калужской области. Моими ближайшими соседями по Тарусе являются Марченко, к которым мне очень часто приходилось заходить по всевозможным хозяйственным делам, а также в силу сложившихся отношений взаимной симпатии.

В течение 7, 8 и 9 ноября я несколько раз заходила к Марченко. У них болел мальчик, и я очень беспокоилась о его здоровье. Я заходила к ним в том числе и вечером. Во время всех этих посещений Анатолий Марченко, его жена Лариса Богораз, а также И.А. Богораз и О.Г. Зимина находились дома. Помню, что в эти дни я видела у них и Наталью Кравченко и, кажется, еще кто-то был.

(подпись)

**2. Свидетельство Ларисы Иосифовны Богораз-Брухман,
(жены Анатолия Марченко).**

1. 6-го ноября, придя с работы, Анатолий рассказал, что его начальница Старухина спросила, где он собирается быть в праздники, а он ей ответил: "Передайте милиции, что буду дома". Мы оба расценили этот разговор как попытку милиции косвенно узнать, не поедет ли Анатолий на праздники в Москву: ведь в праздничные дни почему-то особенно боятся, чтоб бывшие заключенные были в Москве.

Мы действительно не хотели и не могли бы поехать в Москву: ребенок был не совсем здоров, температурил, и всю первую половину ноября мы вообще не выводили его из дома.

7-го ноября, как и 8-го и 9-го, мы оба безвыходно были дома, никуда не отлучались со двора. 7-го к нам приходили и разговаривали с нами наши соседи по дому — Черемнинов, его жена Кротова, Гали Георгиевна Петрова. С Гали Георгиевной мы многократно виделись и разговаривали все обсуждаемые три дня. 7-го вечером мы ждали в гости наших Тарусских знакомых — Николая Давыдовича Поташинского (Оттена) с женой, Еленой Михайловной Голышевой (собственно,

они собирались прийти не к нам, а к моим родителям, жившим в то время в доме Анатолия). Но в этот вечер визит не состоялся, Поташинский и Голышева пришли к нам на другой вечер — не помню, 8-го или 9-го.* А 7-го вечером у нас были гости из Москвы: Наталья Кравченко со своей знакомой (имя этой девушки я не буду называть, т.к. я не хочу, чтобы у нее были неприятности на службе из-за нежелательного знакомства). Они провели у нас весь вечер. Приходили также 8-го и 9-го — перед отъездом в Москву.

Я уже упомянула, что в это время у Анатолия жили мои родители.

Таким образом, 7-го вечером в доме Анатолия Марченко находились: он сам, я, мои родители и две московские гости. Мы сидели в полуподвальной кухне. В девятом часу раздался звонок, Анатолий пошел к двери, я поднялась за ним следом и стояла у него за спиной. Анатолий спросил: "Кто там?" — и приоткрыл дверь на цепочке. Я увидела фигуры трех милиционеров, одного из них, Кузикова, я сразу узнала, он стоял у самой двери. Кузиков сказал: "Анатолий Тихонович, не бойтесь, это милиция". Анатолий ответил: "Милиции здесь делать нечего", — и закрыл дверь.

Судье Кречетовой, разбиравшей этот эпизод и вынесшей постановление о штрафе, Анатолий сказал, что ничего не слышит (он был без слухового аппарата), но она ему не захотела поверить. И Анатолий, и я — мы оба думали, что он наказан за поездку в Москву в октябре. Лишь в последних числах ноября в разговоре моем с судьей я случайно выяснила, что Кузиков подал рапорт, будто бы Анатолий не был дома 7-го вечером. Я тогда же сказала судье, что это ложь, и подала соответствующее заявление прокурору Юлину. В заявлении я указала названных здесь свидетелей.

2. Анатолий Марченко, как и я, считал, что надзор за ним установлен незаконно. Более того, мы оба считали, что самый Указ о надзоре, допускающий, что полноправный гражданин

* Поташинский и Голышева сказали мне, что помнят день 7-го ноября и уточнили: 7-го Н.Д. Поташинский подошел к Анатолию около дома и предупредил, что они не смогут зайти к нам вечером. Разговор был между 4-мя и 5-ю часами. На другой день 8-го они провели у нас вечер. И Поташинский и Голышева добавили, что готовы дать об этом письменные и устные показания в ответ на любой официальный запрос.

без суда может быть поставлен в положение ссыльного, нарушает естественные права человека. Но, желая остаться законопослушным гражданином, стремясь не навлечь на себя преследований закона и сохранить благополучие семьи, Анатолий Марченко подчинился постановлению о надзоре и неукоснительно соблюдал установленные этим постановлением ограничения. Это было унижительно; это мешало жить не только ему, но и всем нам, его близким. Анатолий после работы, не передохнув, шел за водой, чтобы успеть до 8-ми часов вечера запасти воду для нас и для моих родителей. Мы отменили вечерние прогулки с ребенком. В летние месяцы мои родители жили не у Анатолия, а по соседству; свободные только вечерами мы не могли навещать их, и старые люди должны были сами приходить к нам, чтобы повидаться на досуге. Когда они уходили — иногда в темень, дождь и слякоть — я провожала их, а Анатолий должен был поворачивать от калитки обратно. Какова была цель этого издевательства? Ничего другого, как только желание отравить нашу жизнь я предположить не могу.

С конца августа подчиняться надзору стало не трудно, а невозможно: мне с тяжело больным ребенком пришлось уехать в Москву. Анатолию запрещали навещать нас, и только окольным путем, через знакомых, он мог узнавать о здоровье ребенка, так как у меня был отключен телефон и даже позвонить нам было невозможно. Анатолий очень страдал от отсутствия связи с нами и невозможности помочь нам. Помощь была действительно необходима: мне ведь не с кем оставить больного ребенка, чтобы купить продукты, пойти в аптеку за лекарством, даже пойти к телефону и вызвать врача. Хорошо, что друзья помогали. А отцу — милиция не велит. Мы уехали в Тарусу, не долечив малыша. Затем — не пустили встретить мать; старая неграмотная женщина полсуток просидела на московском вокзале, не понимая, то ли ей возвращаться обратно за тысячу километров, то ли ждать неизвестно чего, — одной ей, с вещами, и не найти было эту Тарусу. Снова друзья выручили, а сыну — запрещено. То же повторилось, когда она уезжала. Ведь это хуже, чем если бы на самом деле держали за проволокой. Для чего все это? Чтобы *спровоцировать нарушение и поставить под угрозу суда и лагеря*, никакого другого смысла в этих действиях милиции я не вижу (но милиция действовала не по своей инициативе, это всякий раз давал

понять начальник милиции, а иногда и прямо говорил: ”Я на Вашу просьбу еще *не получил* ответа”).

Анатолий Марченко не из таких людей, которые могут потихоньку обойти неудобную преграду в надежде — авось, сойдет. Он заявил, что больше не желает терпеть издевательства над собой и над своей семьей, отказывается подчиняться *такому* закону. И не стал выполнять предписанные правила жизни. Но и нарушать их специально, чтобы только нарушить, он тоже не стал. Ему запрещалось ходить в ресторан — и до надзора он не рвался туда, и отказавшись, не кинулся в загул. Запрещено ходить — Бог весть почему — в Дом отдыха; а мы за три года жизни в Тарусе и не узнали, где туда вход. Предписано быть после восьми дома — куда же мы, уложив ребенка, отправимся? Дома сидим. Не велено выезжать из района — пять дней в неделю Анатолий на работе, на два выходных домашних хлопот хватает, он с трудом выкраивал время, чтобы заняться тем, что его интересует, — книгами, своими записями.

В октябре снова болел ребенок, я была с ним в Москве. Каждую неделю на выходные дни Анатолий приезжал к нам: продукты запасал на неделю, с ребенком сидел, играл — он ребенка любит, как не каждый отец, и заботился о нем, как даже не всякая мать.

Почти такая же ситуация была и в декабре, и в январе, когда он был в Москве: 6-го января, например, участковый милиционер Трубицын застал мужа у меня дома с ребенком на руках. У ребенка была температура около 40⁰, мы вызвали неотложку — а милиционер составил акт о нарушении нами паспортного режима, и меня оштрафовали на этот случай, да еще и предупредили, что если такое повторится, выселят из Москвы.

Эти его поездки не рассматривались судом — неужели даже этому суду неудобно было вменить их прямо в вину? Но все они как бы фоном упомянуты в обвинительном заключении и в приговоре, много раз судья повторяет: девять нарушений за два месяца!

Что же остается для прямого обвинения? Только одно: не являлся на регистрацию. Да еще фальшивка. Вот и все уголовное дело.

3. Об Анатолии Марченко и его "деле".

Свидетельство И.А. Богораза.

Мне с женой моей, Зиминной Ольгой Григорьевной, довелось стать непосредственными свидетелями событий, явившихся предметом судебного разбирательства "дела" Марченко А.Т. При нас весной 1974 г. началась эта драматическая история — внезапное, без всякого предупреждения и расследования, объявление А.Т. Марченко "постановления" об учреждении над ним надзора. На наших глазах разворачивалась панорама практических мер и действий, связанных с так называемым надзором. В нашем присутствии А.Т. Марченко, после длительного подчинения бремени надзора, принял осенью прошлого года свое решение об отказе от дальнейшего подчинения ставшей для него невыносимой надзорной системе. Мне пришлось, наконец, присутствовать на самом этом беспрецедентном суде, куда я явился для дачи свидетельских показаний. Заявление мое о готовности выступить свидетелем по делу Марченко было судом отклонено, и я, побуждаемый сознанием своего гражданского долга, пользуюсь возможностью окольным путем, уже после вынесения приговора, изложить свои показания.

Прежде всего — факты; факты реальные, истинные — в сопоставлении с фигурировавшими на суде вымыслом, клеветой, ложью.

1. Факт обнаруженного якобы 7-го ноября 1974 г. нарушения А.Т. Марченко правил надзора.

С подтверждением этого "факта" выступили на суде два свидетеля: сотрудник Тарусской милиции Кузиков, показавший, будто 7-го ноября у него на глазах Марченко садился в автобус, отправлявшийся в Серпухов; сотрудник московской милиции Трубицын, утверждавший, будто видел Марченко 7-го, 8-го и 9-го ноября в Москве. Между тем, всю первую половину ноября месяца 1974 года мы с женой прожили в Тарусе на квартире Марченко, три праздничных дня — 7-е, 8-е и 9-е ноября — мы провели вместе с Марченко и его семьей, в течение этих дней Марченко из Тарусы никуда не уезжал и проводил эти дни неотлучно дома. Мы были свидетелями того, как 7-го ноября вечером в квартиру Марченко стучались представители Тарусской милиции и как Марченко переговаривался с ними. Никто, следовательно, не мог в указанные дни видеть

его отъезжающим из Тарусы, ни тем более — пребывающим в Москве.

Присутствуя на суде, где с такой беззастенчивостью и цинизмом прозвучали ложные показания двух милиционеров, я задавался вопросом: как мог суд с доверием отнестись к подобным показаниям? Не подвергнуть их тщательной проверке? Не заслушать очевидцев, настойчиво добивавшихся вызова и допроса? Положить эти, по меньшей мере сомнительные свидетельства в основу судебного приговора? Чем объяснить подобное легкоеверие суда?

Вопрос этот остается для меня поныне неразрешенной загадкой, как, впрочем, и некоторые другие аспекты этого процесса.

2. Факты, относящиеся к характеристике личности подсудимого, его образа жизни, его поведения, нравственных его качеств, отношения его к людям, к труду, к выполнению общественного долга.

Показания мои в этом плане также, думается мне, имеют прямое отношение к делу, и суд, мне кажется, обязан был с исчерпывающей полнотой изучить и эту сторону вопроса. Действительно ли А.Т. Марченко вызывал опасения местных властей как потенциальный, если не реальный, нарушитель общественного порядка, как "возмутитель спокойствия", как человек, склонный, быть может, к паразитическому образу жизни, к безделью, дебоширству или другим каким-либо порокам, вызывающим необходимость учреждения над ним надзора и чрезвычайных мер ограничения?

На основании длительного и близкого общения с Марченко А.Т. считаю своим долгом заявить: по самой своей природе Марченко отличается исключительным трудолюбием и высоким чувством гражданственности. Будучи примерным семьянином, он в то же время отличается отзывчивостью и чувством товарищества, высоко развитым чувством солидарности по отношению к окружающим и готовностью прийти к ним на помощь. Живя в Тарусе, где выбор работы ограничен, Марченко не гнушался никаким видом тяжелых физических работ, выполняя свои рабочие обязанности с неизменной добросовестностью и честностью. Даже после установления над ним надзора, наталкиваясь в своем трудоустройстве на ограничения и дискриминацию, Марченко продолжал упорно трудиться, не давая милиции повода и оснований для зачисления своего

поднадзорного в категорию тунеядцев.

Остается открытым вопрос: на основании каких мотивов такой человек, как Марченко — труженик, трезвенник, человек долга и высокого чувства ответственности, как мог он стать объектом позорной административной опеки и милицейского надзора? Тоже загадка, вторая по счету загадка, связанная с этим необыкновенным судом над Марченко.

3. Факты, относящиеся к обстоятельствам объявленного Анатолием Тихоновичем Марченко отказа от дальнейшего соблюдения правил надзора.

Кризис этот вспыхнул на глазах у меня во всех своих частностях и деталях. Основной вопрос, какой при этом возникает и настоятельно требует ответа: как случилось, что после полугодового почти подчинения надзору — Марченко восстал, сбросил с себя цепи, объявил как бы бойкот надзору? Как вообще мог он решиться на такой шаг, зная, что подобное выражение протеста слишком дорого ему обойдется, будет стоить ему последних остатков свободы? Разумно ли, стоило ли? Не было ли это решение Марченко жестом отчаяния, вызовом бессмысленным и безнадежным?

Одно можно сказать с уверенностью: поворот Марченко от подчинения надзору к открытому протесту не был ни шагом, рассчитанным на внешний эффект, ни актом отчаяния. Он был естественной реакцией на длительную, изнуряющую систему унижительных ограничений и преследований, направленных к постепенному подавлению воли человека, истощению его нравственных сил и терпения. Я был живым свидетелем того, как повседневная практика надзора, начиная от бесчисленных вторжений милиции в квартиру Марченко для "проверки" и кончая регулярными милицейскими запретами тех действий, которые сам он ощущал как потребность и долг (встретить мать, навестить больного ребенка), — как вся эта система бесчеловечных притеснений вызывала у Марченко постоянное столкновение между соображениями самосохранения и безопасности с одной стороны и чувством ущемленного человеческого достоинства — с другой; как невыносимо становилось для Марченко терпеть эту постыдную регламентацию его жизни; и как постепенно чувства попранной чести и растоптанного достоинства брали верх над элементарными соотношениями риска и безопасности. Решение Марченко о несоблюдении правил надзора явилось, таким образом, не минутной вспышкой отчая-

ния, а постепенно вызревающим сознательным выражением протеста против беззакония и несправедливости, сопровождающих практику надзора.

4. Факты, относящиеся к вопросу о намечавшемся выезде Марченко и его семьи за пределы СССР.

Тема эта неразрывно связана со всем комплексом событий, относящихся к делу о надзоре, к самому суду над Марченко. Достаточно указать, что в ходе официальных переговоров, какие накануне ареста велись с Марченко по вопросу о выдаче ему разрешения на выезд за границу, соответствующие инстанции ставили в прямую связь судьбу дела о нарушении надзора — с тем или другим решением вопроса о выезде. Получит Марченко разрешение на выезд — отпадет судебное дело о надзоре, не получит разрешения — состоится суд по нарушению надзора, со всеми вытекающими последствиями. Марченко, таким образом, оказался перед альтернативой: эмиграция или суд; разрыв с родными и близкими, отрыв от друзей, потеря родины — с сохранением личной свободы, либо сохранение родины — с неминуемой перспективой ареста, тюрьмы, заключения. Скрепя сердце, против своей воли Марченко подал заявление на выезд.

Но как же тогда получилось, что вместо эмиграции, которой от него так явно добивались, — перед ним распахнулись ворота Калужской тюрьмы, вместо пути на запад — открылся безрадостный и тяжкий этапный маршрут на восток, в далекую ссылку?

Мои показания могут пролить свет и на эту сторону вопроса, поскольку на этой заключительной, самой, пожалуй, драматической стадии всей этой мрачной истории я оказался не свидетелем даже, не наблюдателем, а в какой-то мере участником событий. Мне пришлось взять на себя неблагодарную миссию "главноуговаривающего", я немало сил потратил на то, чтобы как-то уломать Марченко, уговорить его уезжать. Марченко с трудом поддавался уговорам; как до, так и после возникновения реальной угрозы ареста он упорно отталкивал от себя эмиграцию. Скорее всего, именно под нашим влиянием — родных и друзей — он принял в конце концов решение об отъезде как о единственно не трагическом исходе дела для своей семьи. Но на этом месте разразился финальный конфликт: между Марченко и его "доброжелателями" из ОВИРа, (и не только из ОВИРа, но — неофициально — и из более могу-

ственных органов). И прямо и косвенными путями ему "рекомендовали" воспользоваться приглашением из Израиля (неважно, что просроченным, сойдет, что за формальности!) вместо приглашений из США. И тут Марченко снова отверг безопасный, благополучный вариант выбора — отверг окончательно и категорически.

У многих такая принципиальность, прямолинейность Марченко вызвала недоумение, непонимание: не все ли равно, как выбираться, какими путями? Оправдана ли такая позиция, разумна ли?

Прагматические соображения — не в пользу этой позиции; но солгать напоследок о мнимом воссоединении семьи (когда на самом деле семья насильно кромсается на части), о вновь обретенной родине (когда родину — вот эту, какая есть — приходится покинуть навсегда и не по своей воле), солгать — пусть однажды и никому не во вред (ведь заведомая для всех ложь никого не обманет, значит, и не опасна?) — к этому, видимо, Марченко не мог себя принудить.

Калужский суд, хотя и обошел молчанием эту сторону дела, тем не менее вынес свое суровое решение, определив размер цены за чрезмерную принципиальность подсудимого Марченко: 4 года ссылки.

10 апреля 1975 г.

Иосиф Богораз.

II

I . *Прокурору г. Калуги от гр-ки Богораз-Брухман Ларисы Иосифовны (Москва, Ленинский проспект, дом 85, кв. 3)*

Заявление

Сообщаю Вам, что на судебном заседании 31 марта в Калужском горнарсуде, где разбиралось дело моего мужа Марченко Анатолия Тихоновича (обвиняемого по ст. 198², председательствующий Левтеев), свидетели Кузиков и Трубицын дали ложные показания о том, что Марченко Анатолий Тихонович 7-го ноября 1974 г. после 8 часов вечера находился не в Тарусе, по месту жительства, а в Москве. Кузиков показал, что он видел Марченко 7-го ноября в пятом часу вечера садя-

щимся в автобус, уезжающий из Тарусы. Трубицын показал, якобы 7-го около 10 вечера он видел Марченко в Москве около дома, где я живу, и даже будто бы разговаривал с ним; а также видел его 8-го и 9-го ноября в Москве со мной и с ребенком. И те и другие показания — ложь. 7-го, 8-го и 9-го ноября Марченко, и я, и наш ребенок находились в Тарусе. Марченко и близко не подходил к автобусу, т.к. 7-го безвыходно сидел дома. Не представляю себе, какого рода галлюцинации могли посетить Трубицына. Я объясняю ложность показаний Кузикова попыткой задним числом оправдать ложный рапорт начальнику милиции — о том, что якобы Марченко во время проверки 7-го после 8-ми часов вечера не находился дома. На основании этого рапорта Марченко был подвергнут административному взысканию — штрафу. Я тогда же подала заявление в Тарусский суд о привлечении Кузикова к ответственности. Я перечислила свидетелей того, что Марченко был дома, и называю их Вам снова (все названные были в доме Марченко 7, 8 и 9 ноября):

1. Богораз-Брухман Лариса Иосифовна (Москва, Ленинский проспект 85, кв. 3);

2. Богораз Иосиф Аронович (Москва, Кадашевская наб. 12, кв. 11);

3. Зимина Ольга Григорьевна (проживает там же);

4. Кравченко Наталья Андреевна (Москва, Нагорная ул. 68, корп. 13, кв. 41).

Кроме этих лиц к нам в гости в течение 7, 8 и 9 ноября заходили: Петрова Гали Георгиевна (Москва, Кропоткинский пер. 24, кв. 3), Черемнинов Дмитрий и Кротова Александра (Таруса, ул. Луначарского 39).

Я просила судью Левтеева вызвать этих лиц в суд свидетелями, заявление об этом подала 27-го марта. Повторно несколько заявлений об этом было подано до начала судебного заседания. Адвокат также ходатайствовал о вызове нескольких из названных лиц. Однако никто кроме Черемнинова не был допрошен ни на следствии, ни в судебном заседании. Таким образом, суд не исследовал всесторонне обстоятельства дела и вынес обвинительный приговор на основании ложных показаний.

Прошу Вас опротестовать приговор в порядке прокурорского надзора.

Прошу Вас также возбудить дело против Кузикова и Тру-

бицына за дачу в суде заведомо ложных показаний. Мною при этом руководит не жажда мести, а уверенность, что, если была бы установлена истина, моего мужа должны были бы освободить.

2 апреля 1975 года

Л. Богораз

2. *Прокурору г. Калуги от гр-ки Кравченко
Натальи Андреевны, проживающей Москва
Нагорная ул. 68, корп. 13, кв. 41*

Заявление

31 марта в Калужском горнарсуде рассматривалось дело Марченко А.Т., который обвинялся в злостном нарушении надзора. Одним из трех злостных нарушений было признано то, что он якобы отсутствовал дома 7-го ноября после 8-ми вечера.

Мне известно, что он в это время находился дома (г. Таруса, ул. Луначарского д. 39). Около 17-ти часов 7-го ноября я пришла в гости к А.Т. Марченко. Он, его жена — Л.И. Богораз, ребенок и родители жены — О.Г. Зимина и И.А. Богораз — находились в это время дома. Весь вечер никто из дома не выходил. Все сидели в столовой в нижнем этаже дома. В девятом часу во входную дверь позвонили. Марченко поднялся наверх, за ним жена. Все в столовой затихли и прислушивались к происходящему у дверей, т.к. ожидали проверки милиции в этот вечер. "Кто там?" — спросил Марченко, приоткрыв дверь. "Не беспокойтесь, Анатолий Тихонович, это из милиции", — ответил мужской голос из-за двери. Это я особенно хорошо запомнила. Марченко ответил: "Делать нечего милиции" — и захлопнул дверь.

На следующий день, 8-го ноября, я опять весь вечер, начиная часов с 17-18, провела у Марченко в доме. Снова он сам и вся семья были дома и сидели в столовой. Никаких происшествий в этот вечер не было. Когда я уходила, все оставались дома и, насколько мне известно, никто никуда не собирался.

9-го ноября я заходила в дом Марченко в 16 часов и пробыла там около часа, после чего отправилась из Тарусы в Москву с последним автобусом. И снова вся семья была дома, и никто никуда не собирался уходить.

Это я хотела рассказать в суде над Марченко, но, к сожалению, суд не пожелал меня выслушать. Зато я, находясь на суде, слышала выступления милиционеров Кузикова и Трубицына. Кузиков показал, что 7-го ноября видел, как Марченко уехал из Тарусы в Москву, и что во время проверки с ним разговаривал не Марченко, а неизвестный мужской голос. Свидетель Трубицын якобы видел Марченко 7, 8 и 9-го ноября в Москве. Я считаю эти показания ложными, т.к. твердо убеждена, что ни один человек не может одновременно находиться в двух точках, удаленных друг от друга более, чем на сто километров.

Мне известно, что жена А.Т. Марченко Л.И. Богораз пода-ла Вам заявление с просьбой об отмене приговора и наказания Кузикова и Трубицына. Я поддерживаю эту просьбу и готова дать показания в суде при пересмотре дела.

11 апреля 1975 г.

Н.Кравченко

3.

Прокуратура СССР
Прокурор г. Калуги
Калужской области
7 апреля 75г. №Л-72
г. Калуга

Гр-ке Богораз-Брухман Л.И.
Москва, Ленинский пр. 85, кв.3

На Ваше заявление от 2 апреля 75г. , направленное в прокуратуру города Калуги, сообщаю, что, ознакомившись с материалами уголовного дела по обвинению Марченко А.Т. по ст. 198-2 УК РСФСР, оснований для принесения протеста и возбуждения против кого-либо уголовного дела не нахожу.

Прокурор г. Калуги Советник юстиции

Шарафанов

4.
Прокуратура СССР
ПРОКУРОР
гор. Калуги Калужской
области
15 апреля 75г. № Л-83
г. Калуга

Гр-ке Кравченко Н.А.
г. Москва, Нагорная ул. 68
корп. 13 кв. 41

На Ваше заявление от 11 апреля 75г., направленное в прокуратуру г. Калуги, сообщаю, что ознакомившись с материалами уголовного дела по обвинению Марченко А.Т. по ст. 198-2 УК РСФСР, оснований для принесения протеста или привлечения других лиц к ответственности не нахожу.

Прокурор г. Калуги Советник юстиции

Шарафонов

ОТ ДУБРОВЛАГА ДО ССЫЛКИ
(Основные даты и документы)

1966 г., *ноябрь* — освобождение из Мордовских политических лагерей.

1967 г. — появилась в Самиздате книга А. Марченко "Мои показания".

Декабрь — Марченко впервые предлагают уехать из СССР. Сотрудник КГБ, назвавшийся Медведевым, сказал ему: Вас будут судить за нарушение паспортного режима, убирайтесь в любую страну.

1968 г. — открытые письма в Советский Красный Крест, А.Чаковскому, некоторым писателям о положении политзаключенных в СССР.

26 июля — письмо в газету "Руде право" об угрозе вторжения советских войск в Чехословакию.

29 июля — арест по обвинению в нарушении паспортного режима. Приговор — 1 год лагерей строгого режима.

1969 г.

Май — в Ныробском лагере (Пермская область), где Марченко отбывал наказание, против него фабрикуется дело по ст. 190-1 УК РСФСР (клевета на советский общественный и государственный строй). Приговор — 2 года ИТЛ строгого режима.

1971 г.

29 июля — по окончании лагерного срока направлен под надзор в пос. Чуну Иркутской области.

1972 г.

Сентябрь — поселился в г. Таруса Калужской области.

1973 г.

Август — открытое письмо в ООН в связи с лагерным делом А.Амальрика. Открытое письмо Вилли Брандту о разрядке напряженности.

Ноябрь — обыск по "Делу № 24" (о "Хронике текущих событий"), изъяты черновые дневниковые записи Марченко.

Декабрь — Рекомендация, исходящая из КГБ: "Пусть Марченко уезжает из страны, не то ему худо будет".

1974 г.

Январь — в московском отделе КГБ Анатолию Марченко выносят Предостережение, в котором в качестве его "антиобщественных" поступков перечисляются: "Мои показания", открытые письма и заявления, написанные и подписанные им.

Февраль — Московское обращение ряда диссидентов по поводу выхода в свет "Архипелага ГУЛАГ" и высылки А.Солженицына, под которым подписался и А.Марченко.

1 апреля — уволен с должности кочегара ввиду окончания отопительного сезона.

Май — Тарусская милиция ставит Марченко под надзор сроком на год.

Выписка из Постановления

об установлении административного надзора 24 мая 1974г.

Марченко А.Т. ..., освободившись 29 июля 1971 года, на путь исправления не встал, в настоящее время продолжительное время не работает, ведет антиобщественный образ жизни.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Указом ПВС СССР от 26.6.66 г. и Положением об административном надзоре, (*Тарусский РОВД**) ПОСТАНОВИЛ:

Марченко А.Т. поставить под гласный административный надзор милиции сроком на 12 месяцев и ограничить его в следующих правах:

1. Быть дома с 20 часов до 6 утра следующего дня.
2. Запрещение посещать: рестораны, пивные бары, дом отдыха им. Куйбышева, Дом Культуры в любое время суток.
3. Запрещен выезд из Тарусского района без разрешения РОВД.
4. Четыре раза в месяц каждый понедельник являться для отметки в РОВД к 18 часам.

Прокурор Тарусского района

(подпись)

Заявление для прессы

25 мая мне объявили об установлении надо мной гласного надзора милиции. "Надзор" — это не контроль моего поведения: по многим признакам я замечаю, что моя жизнь негласно контролируется постоянно путем прослушивания, слежки, ограбления дома (причем грабители-любители украли не вещи и деньги, а мои бумаги, книги, фотографии). Нет, надзор милиции — это оскорбительные для меня ограничения моей свободы, и без того сверх меры ущемленной у советских граждан разнообразными инструкциями, указами, постановлениями

* РОВД — Районный отдел внутренних дел.

и тому подобными актами, начиная с паспортного режима.

Унизительность поднадзорного состояния я почувствовал в первый же день: как обычно, я вынес своего сына погулять перед сном, ребенок по привычке потянулся на улицу, а я не имел права шагнуть с ним за калитку, так как с 8 вечера обязан быть дома. Так мой сын, едва годовалый, познает права и обязанности гражданина своей родины. Через несколько дней ровно в 8 вечера милиционер-надзирающий вошел в мою квартиру проверить, сижу ли я дома, и удалился, оставив на вымытом полу следы своих грязных сапог. По правилам надзора милиция имеет право явиться в мой дом в любое время дня и ночи.

Домашний арест с 8-ми вечера до 6-ти утра — далеко не единственное ограничение, предусмотренное надзором. И хотя остальные не менее унизительны (не посещать кино, ресторан, не выезжать за пределы района и т.п.), больше, чем сами ограничения, оскорбительны формальные обоснования этой акции. В постановлении говорится, что я веду антиобщественный, паразитический образ жизни. Я работаю с 17 лет. На прибавочную стоимость от моего труда государство строит космические корабли, натягивает колючую проволоку вокруг концлагерей, содержит министра иностранных дел, собак лагерной охраны и военных советников на Ближнем Востоке. Я был грузчиком, буровщиком, чернорабочим, лесорубом, шахтером, кочегаром. Потеряв здоровье в лагерях, я вынужден теперь искать себе более легкую работу. Последнее время я работал на сезонной работе. Между зимним и летним сезонами перерыв около двух месяцев — так вот этого достаточно, чтобы официально получить ярлык тунеядца и попасть под надзор. Кстати, это время я не отдыхал, а ремонтировал свое жилье — ведь мне никто не пришлет бригаду ремонтников, как присылают секретарю райкома или прокурору; но тунеядец и паразит, оказывается, я, а не они.

Другое формальное обоснование надзора — что я "не исправился". Поскольку речь идет не о пьянстве, не о воровстве или насилии, а о моем образе мыслей, вряд ли применяющиеся ко мне меры (заключение в концлагерь, милицейский надзор) убедят меня в неизмеримых преимуществах самого гуманного, самого демократического в мире нашего общественного устройства. Значит, я обречен пожизненно испытывать на себе эти меры.

Однако суть дела не в формальных обоснованиях надзора, как и не в самих наложенных ограничениях. В течение нескольких месяцев — после моих открытых писем Генеральному секретарю ООН и прогрессивным деятелям Запада — я ощущаю пристальное внимание властей. В ноябре прошлого года у меня произвели обыск, причем забрали все мои черновые записи. В январе нынешнего года меня вызвали на допрос в КГБ и зачитали так называемое "Предостережение", суть которого — угроза арестом. Вот теперь объявили надзор на год — быть может, в расчете, что за год я нарушу какие-нибудь правила (но я не исключаю провокации или подлога): три мельчайших нарушения (как было у Бориса Шилькрота) позволяют упечь поднадзорного в лагерь на два года, а там, как мы знаем, можно держать до бесконечности. Возможно, все эти акции — подготовка к аресту. Возможно и другое: все это — приемы запугивания, чтобы я либо научился помалкивать, как большинство советских граждан, либо уехал бы из своей страны. В декабре 73-го года работник КГБ передал моей жене "совет": пусть уезжает, иначе Марченко хуже будет. Я (вероятнее же, и члены моей семьи тоже) считаюсь у властей беспокойным элементом, от которого стремятся избавиться любым способом.

На фоне расправы с Григоренко, Плющом, Буковским, Светличным, Шухевичем, Амальриком и многими другими приключившаяся со мной неприятность — административный надзор — мне самому кажется несущественной, мелкой. Однако, я понимаю, что проявляемое ко мне внимание — первое звено той цепочки, которая ведет либо в тюрьму, либо в изгнание. Я не прошу никого ни о помощи, ни о заступничестве — в этом нуждаюсь пока не я, а другие названные и не названные мною. Пусть мое сообщение будет еще одной частичей информации о стране, которая сегодня претендует на управление судьбами не одного человека, но всего мира.

15 июня 1974 года
г. Таруса Калужской обл.
ул. Луначарского д. 39

А.Т. Марченко

2-7 июля — голодовка солидарности с А.Д. Сахаровым:

"Поддерживаю протест Андрея Дмитриевича Сахарова против бесчеловечных условий содержания советских политза-

ключенных и присоединяюсь к его требованиям о политической амнистии.

Солидаризуясь с А.Д. Сахаровым, объявляю голодовку со 2-го июля.”

А.Марченко

г. Таруса Калужской области
ул. Луначарского дом 39.

Август – ужесточение надзора.

1. *Начальнику РОВД г. Таруса от
Марченко Анатолия Тихоновича.*

Заявление

Находясь под административным надзором милиции, прошу Вашего разрешения на поездку в Москву к больному сыну с 24 по 26 августа.

(подпись).

(РЕЗОЛЮЦИЯ:)

Отказываю.

Нач-к РОВД

(подпись) 22 августа 1974 г.

2. *Начальнику РОВД г. Таруса от
Марченко Анатолия Тихоновича*

Заявление

Находясь под гласным административным надзором милиции, прошу Вашего разрешения на поездку в Москву на трое суток с 27 по 29 сентября 1974 г. Ко мне едет мать из Казахстана и я хочу ее встретить.

25 сентября 1974 г.

(подпись)

(РЕЗОЛЮЦИЯ:)

Выезд в Москву не разрешаю.

Нач-к РОВД *(подпись)*

26 сентября 1974 г.

3.

*Начальнику РОВД г. Таруса от
Марченко Анатолия Тихоновича*

Заявление

Находясь под гласным административным надзором милиции, прошу Вас разрешить мне 9-го октября 1974 г. отвезти в Москву жену с ребенком, т.к. в Тарусе скарлатина, а детского врача нет.

(подпись)

(РЕЗОЛЮЦИЯ:)

Отказать. В Тарусе нет эпидемии скарлатины, а есть лишь отдельные случаи заболевания скарлатиной.

Нач-к РОВД *(подпись)*

11 октября — заявление об отказе от надзора:

***РАДИОСТАНЦИЯМ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ, ВЕДУ-
ЩИМ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ.***

Четыре с половиной месяца назад я сделал публичное заявление о безосновательном установлении надо мной гласного милицейского надзора. С тех пор я выполнял унижительные правила и подчинялся затрудняющим жизнь ограничениям, не желая вступать в мелочную тяжбу по каждому пункту надзорного постановления. Я не заключенный, не ссыльный, закон страны называет меня "свободным гражданином". Но мне запрещено выходить из дому после 8 вечера — старики-родители моей жены вынуждены одни впотьмах добираться до своего жилья, так как я не имею права проводить их. Мне запрещено выезжать в соседний район — и жена должна ехать сама за углем и припасами на зиму. Отвезти больного ребенка к врачу — я и то должен просить разрешения у милиции. Я подчинялся. Я считал ниже своего достоинства протестовать против нелепых, но поначалу бесцельных надзорных ограничений.

Теперь эти ограничения приняли характер целенаправленного издевательства надо мной и моей семьей. Милиция запретила мне встретить мою 60-летнюю мать, приехавшую из Средней Азии, чтобы повидаться со мной. Спустя две недели

милиция запретила мне отвезти домой жену с маленьким сыном, помочь им перевезти вещи. Мне известно, что все эти запреты милиция производит по указанию более высоких инстанций. Ни один из запретов не был никаким образом мотивирован.

Я не посчитался с запретами, проводил мать, отвез жену с ребенком — тем самым "злостно нарушил правила надзора". *Трех таких нарушений достаточно для того, чтобы угодить в лагерь на два года.* Таков закон. Правда, закон предусматривает, что надзорные ограничения не должны нарушать жизнь семьи. Но что толку говорить о законности, если милиция подделала постановление о надзоре над моим товарищем Гинзбургом, переправив в документе цифру 6 на 12 и увеличила ему таким образом срок надзора на полгода? Если и Гинзбургу и мне изначально запрещено бывать в Москве, где живут наши семьи? Если суд рассматривает вопрос, достаточно ли тяжело болен ребенок Гинзбурга, чтобы отец мог его отвезти в Москву, несмотря на запрет милиции? И врач дает на этом суде показания, что нет, не слишком тяжело, мог бы ребенок хворать скарлатиной и в Тарусе (а лечиться — возить младенца за 84 км, три часа на автобусе).

Милиция решает, видеться ли, где и как часто Гинзбургу и мне с нашими семьями. Милиция установит, а суд рассудит, кто и где будет лечить наших детей. Милиция запретит мне встретить и проводить мою старуху-мать. Я же обязан подчиняться и еще еженедельно подтверждать свою покорность собственноручной подписью в отделении милиции. Кому, в какой фантастике, в какой сатире удалось переплунуть эту реальность?

Проблемы рабства, проблемы крепостничества — они давно позабыты в цивилизованном мире и слишком привычны и обыденны на моей родине. Где еще, в какой стране, кроме моей, осуществление естественных прав личности может образовать состав преступления? Где еще суд будет рассматривать и определять меру наказания за такой криминал?

Право оказать уважение старости, право позаботиться о своей семье, навестить своего ребенка — может, действительно эти права не стоят внимания и не стоят того риска, на который я решил пойти, осуществляя их?

Заявляю, что я отказываюсь признавать режим гласного милицейского надзора надо мной. Отказываюсь признавать

законность чьего бы то ни было произвольного вмешательства в мою частную жизнь — будь то отеческая забота партии, милиции или государства.

Я заявляю, что добровольно ни на какой суд по этому поводу не пойду, что в случае ареста объявлю голодовку — это единственно доступная мне форма протеста против традиций крепостничества на моей родине.

Прошу всех лиц и организации, занимающиеся вопросами прав человека, принять к сведению это сообщение.

Прошу радиостанции Западной Европы и Америки, ведущие передачи на русском языке, передать его.

Анатолий Марченко.

14 октября 1974 года
г. Таруса Калужской области
ул. Луначарского дом 39.

18 ноября — вызов в Тарусский народный суд. Судья Кречетова, заслушав показания милиционера Кузикова, что Марченко, якобы, не было дома 7 ноября после 20 часов, вынесла постановление о наложении на него штрафа (35 рублей) за нарушение правил надзора.

4 декабря — второй вызов в суд и новый штраф (40 рублей) — на этот раз за неявку в милицию для отметки 25 ноября 1974 года.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА СССР

ПРОКУРОР

Тарусского района
Калужской области

11 декабря 1974 года

№ Л-51

г. Таруса

Гр-ке Богораз-Брухман Л.И.
проживающей гор. Москва
Ленинский проспект дом 85
кв. 3.

Ваша жалоба, адресованная в Тарусский народный суд, о незаконном привлечении к ответственности Вашего мужа Марченко А.Т. за нарушение административного надзора по подложным документам, составленным работником милиции Кузиковым, проверена прокуратурой Тарусского района, которая оставлена без удовлетворения по следующим основаниям.

В соответствии с "Положением об административном над-

зоре органов милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы” работники милиции обязаны систематически контролировать поведение лиц, в отношении которых установлен административный надзор, и в соответствии с п. Д ст. 12 ”Положения” при осуществлении административного надзора работники милиции имеют право посещать в любое время суток жилище поднадзорного.

7 ноября 1974 г. в 20 час. 45 минут работнику милиции Кузикову, осуществляющему административный надзор, при посещении дома Марченко было отказано зайти в дом и убедиться, дома ли гр-н Марченко.

При этом ему было заявлено, что в доме работникам милиции делать нечего.

По объяснению Кузикова и двух понятых, находившихся с ним, Фоменкова В.Я. и Левашева В.Н. они не могли по голосу разговаривающего через дверь с ними мужчину узнать, и он не назвал себя, кто он есть.

Данный факт нарушения прав работника милиции Кузикова при осуществлении гласного надзора со стороны поднадзорного Марченко был расценен, как нарушение надзора, по случаю чего и был составлен протокол.

Одновременно разъясняю Вам, что гр-н Марченко А.Т. систематически нарушает правила надзора, за что дважды привлекался к административной ответственности. В соответствии со ст. 198² УК РСФСР, злостное нарушение правил, предусмотренных Положением об административном надзоре органов милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, с целью уклонения от надзора, если оно совершено лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному воздействию за такие же нарушения, — влечет за собой уголовную ответственность.

Прокурор Тарусского района
Советник юстиции

(Б.Юлин)

10 декабря – заявление об отказе от гражданства:

*Председателю Президиума Верховного Совета СССР
от Марченко Анатолия Тихоновича,
проживающего в г. Тарусе Калужской области по ул. Луначарского
дом 39*

Заявление

Поскольку я фактически поставлен властями вне закона, впредь не считаю себя гражданином Советского Союза, отказываюсь от советского гражданства и прошу дать мне возможность эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Положение эмигранта в США более устраивает меня, чем бесправное положение на родине.

Прошу выслать мне стандартные бумаги для оформления отказа от гражданства и для отъезда.

10 декабря 1974 года

Марченко

Декабрь 1974 г. – февраль 1975 г. – получены приглашения: от главы издательства Даттон и К^о Джона Макрея, издателя Эдварда Клайна, вице-президента Американского Пэн-клуба Генри Карлайля, Президента Объединенной федерации учителей Альберта Шанкера.

Конец декабря 1974 г. – вызов в ОВИР УВД Калужской области. Начальник ОВИРа рекомендовал Марченко уезжать по приглашению из Израиля: "Если вы будете настаивать на отъезде в США, вас осудят за нарушение правил надзора," – сказал он.

1975 год.

4 января – участковый милиционер Трубицын, застав Марченко в московской квартире его жены Л.И. Богораз, оштрафовал ее за нарушение паспортного режима, предупредив, что, если он еще раз застанет ее мужа у нее, она будет выселена из Москвы.

МВД СССР

Управление внутренних дел
Исполнительного комитета
Октябрьского района
совета-депутатов трудящихся
гор. Москва

96-е отделение милиции
8 января 1975 года, № Б-3

Копия

Москва, Ленинский проспект
дом 85 кв. 3
гр-ке Богораз-Брухман Л.И.

На Ваше заявление от 8 января 1975 г. 96-е отделение милиции г. Москвы сообщает, что штраф, наложенный начальником 96-го отделения милиции г. Москвы за нарушение "паспортного режима" Постановление Совета Министров СССР от 25 июня 1964 г. за содержание без прописки в г. Москве своего мужа Марченко более трех суток, который имеет положение о паспортах.* Штраф, наложенный на Вас в сумме 5 рублей, подлежит оплате в указанный срок в извещении.

Исполнитель *(подпись – И. Трубицын)*

И.О. Начальника 96-го отделения
милиции гор. Москвы *(подпись – И.В. Ильков)*

6 января – пресс-конференция Марченко иностранным корреспондентам.

13 января – начальник Тарусской милиции Володин сообщил Марченко, что против него возбуждено уголовное дело о нарушении правил надзора (ст.198² УК РСФСР). Мера пресечения – подписка о невыезде. На допросе Ларисы Богораз Володин выразил сомнение в психическом здоровье Марченко и поставил ее в известность, что выписано направление на психиатрическую экспертизу (в дальнейшем эта тема не возобновлялась). Он рекомендовал использовать Израильский вызов: "Иначе Ваш муж будет осужден. Все в ваших руках ..."

Февраль – Калужский ОВИР начал торопить Марченко со сдачей документов для оформления отъезда.

* Так в полученной копии – Изд.

МВД СССР

Управление внутренних дел
Исполнительного комитета
Калужского областного
Совета депутатов трудящихся
Паспортный отдел
248611, г. Калуга
ул. Суворова 139
11 февраля 1975 года

Марченко Анатолию Тихоновичу
гор Таруса, ул. Луначарского 39
Калужской области

Ваше ходатайство о выезде в США поступило на рассмотрение в Паспортный отдел УВД Калужского Облисполкома.

В отношении Вашей жены вопрос о выезде будет решать ОВИР ГУВД Мосгорисполкома.

Вам необходимо явиться в паспортный стол Тарусского РОВД для дооформления материала о выезде.

Начальник паспортного отдела

УВД Калужского Облисполкома

(подпись В.А.Климов)

25 февраля – Анатолий Марченко сдал документы.

26 февраля – обыск по делу о нарушении надзора и арест Марченко. Следователь Дежурная, производившая обыск, забрала черновики и другие записи Марченко, а также рукописи Богораз и не оставила протокола обыска.

ПРИ АРЕСТЕ АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО ОБЪЯВИЛ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ. Он отказался участвовать в следствии. Мотивировка – “Меня будут судить по ст. 198² не за нарушение надзора, а за общественную активность и за намерение эмигрировать в США”.

Как был арестован А.Марченко

(запись со слов жены)

В семь часов вечера я была на кухне, а Толя на лестнице с Пашей на руках. Раздался звонок, я услышала, как Толя спросил: “Кто?” – и после ответа сказал: “Сейчас открою”, что показалось мне странным. Но он спустился по лестнице вниз, чтобы оставить в кухне Пашу. В это время они сломали дверь: вырвали цепочку и крючок и вошли. Их было пятеро – четверо мужчин и одна женщина. “Чего вы хотите?” – спросил Толя. “Нам надо пройти в комнаты”. “Нет, там вам делать

нечего, сейчас сюда принесу стул". И принес. В прихожей всем было тесно. Опять они сказали: "Нам надо пройти в комнаты". — "Нет, говорите здесь, что вам нужно." И тогда они предъявили ордер на обыск. Толя взял этот ордер, прочитал и не отдал (спрятал). — "Обыска не будет," — сказал он. "Будет." — сказали они (и были правы, ведь они уже вошли в дом). Все они просто опешили от такого и немного замялись. Но своих документов не показывали. — "Мы отказываемся в этом участвовать и сейчас уйдем," — сказал Толя. Мы стали одеваться, чтобы уйти. Тогда женщина стала говорить, что вот она сейчас скажет-покажет такое, что мы не сможем уйти. — "Да нет же, мы уйдем". — "Да не можете вы уйти." И тогда она показала — ордер на арест Толи.

"Ты уходи," — сказал Толя. Я собралась, одела Пашу и решила уйти, но меня не пускали. Мужик стоял в дверях и отпихивал меня, я пыталась пробиться. "Я же сильнее вас все равно," — сказал он. "А я в этом не сомневаюсь." Вышла женщина и сказала: "Пропустите ее". Я вышла и увидела, что еще один — шестой — милиционер ошивается вокруг дома. Я увидела его и пошла назад, к дому; он пошел за мной сразу. Я пошла к двери дома (наружной) и спокойно заперла на ключ — он торчал в двери. Милиционер остолбенел. — "Откройте дверь," — сказал он. — "Нет, это мой дом, и я его запираю." Он побежал к себе доложить, и это было хорошо. Я погуляла немного с Пашей и, гуляя, увидела в окнах тени, которые как бы дрались. Потом выяснилось, что Толя, охраняемый одним из пяти, в последней комнате включил проигрыватель, слушал музыку. — "Выключайте, вы мешаете нам работать," — сказал охранник. — "Да нет, я хочу слушать музыку, я у себя," — сказал Толя. "Выключайте." — "Нет". Охранник стал выключать, а Толя опять включал. Но вошел еще один (не назвавшийся) и разорвал руками шнур, музыка перестала.

Как-то мы уложили Пашу спать — было пора; я свободно ходила по дому, а за мной тенью один из пяти.

Во время обыска неизвестный увидел бумажку и обратился ко мне: — "Это что, стихи латышские?" Я была поражена: — "Да." — "Вероятно, XIX век?" Он был прав. Стихи не забрали. Взяли то-то, но не записные книжки и не машинку, и искали больше по поверхности. В конце сказали: мы читаем протокол обыска. Толя говорит: "Дайте, я сам прочитаю, я плохо слышу." — "Да вы прекрасно слышите." Не дали в ру-

ки, уж, видно, побоялись после всего. Женщина прочитала протокол. Толя не слышал. Я сказала: "Вы отобрали бумаги, какое отношение они имеют к делу о надзоре?" "—Мы их посмотрим и что не относится к делу — вернем." (А потом оказалось, что все отобранное, даже не глядя, отправлено в КГБ).

Толя оделся и его увели. Я проводила их до машины, она стояла внизу. Он надел телогрейку и взял кусок хозяйственного мыла.

Эпизод с Л.

В одной из комнат, когда они пришли, была Л. Мы мало ее знали, и она случайно оказалась тогда у нас. Она обнаружилась и отказалась предъявить документы и назвать себя, и попала поэтому к Толе в комнату — под охрану.

Л. Решила пойти на попятный: "Почему я должна предъявлять вам документы, а где же ваши?" Тогда неизвестный, знаток латышской поэзии, показал: лейтенант милиции. (Но Л. уже не могла при них вынуть свои документы). — "Нет, теперь поздно, вы пойдете с нами." Машина вернулась и увезла Л. Было полвторого ночи.

Наутро я пошла к той женщине (следователь по фамилии Дежурная). "Что явилось основанием к аресту? Ведь мерой пресечения была избрана подписка о невыезде?" "—Да, но дело из милиции передано в прокуратуру, и мы избрали другую меру пресечения."

Шла домой и увидела машину, она ехала медленно, в гору. В машине сидел Толя и он видел нас с Пашей, и помахал нам рукой.

27 февраля — 12 марта — Пребывание в Калужской следственной тюрьме.

Следователю Тарусской прокуратуры т. Дежурной от Богораз-Брухман Ларисы Иосифовны (Москва, Ленинский проспект 85, кв. 3).

Заявление *

Прошу разрешить мне свидание с мужем, Марченко Анатолием Тихоновичем, который содержится Вами в предваритель-

* Ответ не получен.

ном заключении (в Калужской следственной тюрьме). Следствие по делу о нарушении правил надзора ведется Вами уже более двух месяцев, в тюрьме он находится три недели. Три недели Марченко держит голодовку. Я не имею о нем никаких сведений, как и он ничего не знает о своей семье. Затягивание следствия по такому простому делу заставляет меня предполагать, что состояние его здоровья угрожающее.

Прошу немедленно дать мне с ним свидание. Прошу также разрешить мне писать ему письма, чтобы он хотя бы не волновался обо мне и нашем маленьком ребенке.

1 марта 1975 года

Л. Богораз

Начальнику следственного изолятора № 1 г. Калуги от Богораз-Брухман Ларисы Иосифовны (Москва, Ленинский проспект 85, кв. 3)

Заявление

Я узнала, что 27 февраля с.г. при заключении в Ваш следственный изолятор мой муж Марченко Анатолий Тихонович был избит работниками изолятора так, что две недели у него болела грудная клетка. Офицер и четыре надзирателя надели на него наручники, в наручниках избили и бросили в подвал. Марченко сообщил Вам об этом случае.

Кроме того, 31 марта, отправляя его на суд, Ваши сотрудники отобрали у него обвинительное заключение и все его записи, относящиеся к делу, тем самым нарушив его право на защиту в суде. В суд Марченко был доставлен в наручниках.

Считаю нужным довести до сведения общественности СССР и всего мира методы обращения у вас с заключенными — даже еще не осужденными — людьми.

Прошу Вас сообщить фамилии Ваших сотрудников, допустивших эти беззакония (отдельно по каждому эпизоду), а также принятые Вами по отношению к ним меры взыскания.

Я намерена преследовать их через суд.

1 апреля 1975 года

(подпись)

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что Марченко А.Т., **ОБЪЯВИВШИЙ ГОЛОДОВКУ С 26 ФЕВРАЛЯ**, все это время содержится в общей камере с другими заключенными —

— принимающими пищу. Насколько я знаю, это нарушение инструкции. Независимо от инструкции содержание голодающего с теми, кто ест — это изощренное мучительство человека.

1 апреля 1975 года

(подпись)

МВД СССР

Управление внутренних дел

Исполнительного комитета

Калужского областного со-

вета депутатов трудящихся

Учреждение ИЗ-37/1

7 апреля 1975г. № Б-10

гор. Калуга

гор. Москва 261, Ленинский про-
спект 85, кв. 3

Богораз-Брухман Л.И.

Сообщаю, что Ваше заявление от 1 апреля 1975 г. прове-
рено. В процессе проверки факты, изложенные в заявлении,
не подтвердились.

Начальник

учреждения ИЗ-37/1

(Н.В.Кузнецов)

*Начальнику медчасти следственного изо-
лятора № 1 г. Калуги от Богораз-Брух-
ман Ларисы Юсифовны (г. Москва,
Ленинский проспект 85, кв. 3) — жены
осужденного Марченко Анатолия Тихо-
новича.*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ставлю Вас в известность, что мой муж Марченко Анатолий Тихонович, содержащийся в следственном изоляторе № 1 г. Калуги, страдает кишечными кровотечениями. В 1968 году в результате таких длительных кровотечений он был в очень тяжелом состоянии, его удалось спасти от гибели только неоднократными переливаниями крови. Мне известно, что в настоящее время у него с 14 марта постоянные кровотечения — и это на фоне **ГОЛОДОВКИ, КОТОРУЮ ОН ДЕРЖИТ С 26 ФЕВРАЛЯ.** Ему предстоит этапирование к месту ссылки. Прошу Вас срочно провести необходимое обследование его состояния, в частности, сделать анализ крови на гемоглобин, и дать заключение, может ли он в нынешнем состоянии перенести этапирование

без опасности для жизни. В соответствии с Вашим заключением я буду добиваться либо восстановления его здоровья до этапа, либо же скорейшего этапирования, пока он еще не потерял окончательно силы. Поэтому прошу Вас сообщить мне результаты обследования и Ваше заключение.

(подпись)

Апрель — письмо Марченко Подгорному, в котором он настаивает на своем праве на эмиграцию.

12 апреля — отправлен по этапу к месту ссылки (пос. Чуна Иркутской области). — *НА СОРОК ШЕСТОЙ ДЕНЬ ГОЛОДОВКИ.*

Президенту США г-ну Дж. Форду

Арестован Анатолий Марченко — автор книги "Мои показания", раскрывшей миру правду об условиях содержания заключенных в советских лагерях послесталинского периода. Теперь его ожидает суд и, по-видимому, очередное тюремное заключение. Это будет пятый суд и пятое заключение в его жизни. Формальной причиной его ареста явилось нарушение "режима" — то есть тех ограничений, которые налагаются в СССР на лиц, живущих под надзором милиции. Поставленный в невыносимые условия, Анатолий Марченко объявил о своем намерении покинуть родину. Он получил приглашение на выезд в США и хотел им воспользоваться. Однако, представители власти заявили ему, что в США его не выпустят, и предложили ему подать заявление о выезде в Израиль. Марченко отказался, справедливо расценивая это как издевательство. Множество граждан еврейского происхождения, подавших заявления об эмиграции в Израиль, задерживаются советскими властями без всяких на то оснований. В то же время от Анатолия Марченко они требуют, чтобы он подал заявление о своем мнимом желании выехать в эту страну. Несмотря на твердый отказ Марченко выполнить это нелепое требование, власти продолжали настаивать и предложили выбор: Израиль или лагерь. Теперь они намерены привести свою угрозу в исполнение.

Уважаемый г-н Президент! Ваша страна часто служила убежищем для гонимых и преследуемых. Анатолий Марченко

получил приглашение приехать в Вашу страну. Мы просим Вас помочь ему в этом. Мы просим принять во внимание, что суд над ним должен состояться уже через несколько дней.

2 марта 1975 г.

А.Д.Сахаров, В.Ф.Турчин, Ю.Ф.Орлов, Т.С.Ходорович, Ю.А.Гастев, М.С.Агурский, Б.Ланда, А.И.Гинзбург, И.П.Якир, Г.С.Подъяпольский, С.Д.Ходорович, Э.Смородинская, М.Н.Ланда, Г.И.Салова, Л.М.Алексеева, А.П.Лавут, В.Рекубратский, К.М.Великанова, А.Н.Твердохлебов, Т.М.Великанова, В.Войнович, В.Корнилов и другие — (всего 31 подпись).

Протестую против ареста писателя Анатолия Марченко

Анатолий Марченко отважился написать "Мои показания" — свидетельство узника "исправительно-трудовых учреждений" послесталинской, сегодняшней социалистической демократии.

Книга-показания появилась в 1968 году.

А.Марченко в открытом письме выразил свои симпатии освобождающейся Чехословакии, незадолго до того, как эта либерализация была прекращена советскими войсками.

... А. Марченко — один из авторов "Московского обращения": протест против высылки А. Солженицына из страны, требование опубликовать в СССР "Архипелаг ГУЛАГ", архивы ЧК — ГПУ — НКВД — МГБ.

... А. Марченко, солидаризуясь с А.Д. Сахаровым, держал в июне 1974 г. трехдневную голодовку: протест против бесчеловечного содержания советских политзаключенных, требование политической амнистии.

Анатолий Марченко писал "Мои показания" в 1967-68 годах, сразу же по выходе из мест лишения свободы, после бесконечно долгих и мучительных шести лет заключения, оглохший, с разрушенным здоровьем. За эту книгу он отбыл три года в "исправительно-трудовых" лагерях. (Формально его судили сначала "за нарушение паспортного режима" — в августе 1968 г. Московский суд приговорил Марченко к году лишения свободы. Еще два года — "за клевету" — добавили уже в лагере).

Когда Марченко вышел из заключения, его ограничили в выборе места жительства, на полгода над ним установили гласный надзор милиции. Ему приходилось работать на тяжелых, низкооплачиваемых работах (кочегар, перевозчик), но и отсюда его то и дело увольняют по надуманным причинам.

В 1973-74 годах у А. Марченко произвели несколько обысков, изъяли его рукописи, дневники, записные книжки; его подвергли допросам. В январе 1974 г. А.Марченко на основании неопубликованного Указа, объявлено предостережение: он подвергнется уголовному преследованию, если не прекратит свою "антиобщественную деятельность", которая выразилась в написании книги "Мои показания", ряда писем и заявлений.

В мае 1974 года над А. Марченко снова устанавливается гласный надзор.

В заявлении для прессы Марченко называет установление этого надзора безосновательным; истинная цель этой акции, как и ряда предшествующих (обыск, допрос, предостережение) — вынудить его либо замолчать, либо эмигрировать.

В октябре 1974 года А. Марченко заявил, что он отказывается выполнять требования административного надзора, поскольку этот надзор превратился в орудие издевательства над ним и его семьей.

После этого, в ноябре-декабре 1974 г. А.Марченко дважды подвергался суду за нарушение правил надзора, на него были наложены штрафы.

В декабре 1974 г. А. Марченко подал заявление об отказе от советского гражданства. Он и его жена, Лариса Богораз, пытались получить разрешение на выезд в США. Представители советской администрации рекомендовали Марченко просить разрешение на выезд в Израиль; тогда, вероятно, выпустят, а иначе его могут арестовать, например, за нарушение правил надзора.

Анатолий Марченко *арестован* 26 февраля 1975 г.

С этого времени, находясь в заключении, Марченко держит *голодовку* — протест против незаконного установления над ним надзора, против ареста. В ближайшее время ожидается суд. Марченко грозит *новое заключение*.

Анатолий Марченко — человек, которому действительно дорога правда, человек действительно небезразличный к поруганию человеческого достоинства, к издевательствам над людьми — за это его преследовали, жестоко наказывали; за это

ему, больному человеку, инвалиду, грозит новое заключение.

Необходимо множить и не прекращать протесты против ареста-заключения Анатолия Марченко.

Анатолий Марченко должен получить разрешение на выезд в страну, которую выберет он сам, а не советская администрация.

Март 1975 года

М.Н.Ланда

(Московская область, Красногорск, ул, Чайковского 11, кв.37)

Заявление из зала суда

гор. Калуга, 31 марта 1975 г.

Я, Татьяна Ходорович, в знак протеста против несправедного и противоправного суда над Анатолием Марченко сегодня, 31 марта, объявляю голодовку.

Я — противница всяческих истязаний и, в частности, самоистязаний. Но я увидела Анатолия Марченко, он голодает уже больше месяца — *а истины пока не добился.*

От слабости еле держится на ногах, а его ввели в зал в *наручниках*. Он попросил у жены стакан воды — конвойные не разрешили: *”Пусть попросит у нас, а не у вас.”*

Это — садизм! Это — тупая злоба!

Анатолию Марченко на днях предстоит тяжелый этап под конвоем в ссылку. Если он не прекратит голодовку — он погибнет. Никакие уговоры на него не действуют:

— Буду голодать, пока не *добьюсь свободы!*

И я решилась объявить голодовку прямо здесь, в зале суда, чтобы он услышал: может быть, это изменит его решение. Ибо в противном случае свобода может опоздать.

Я буду голодать, пока Анатолий Марченко голодает в Калужской тюрьме.*

Нелепость, неразумность и жестокая несправедливость употребляемых нашим государством мер насилия против правды и человеческого достоинства *непостижимы!*

Суд над Анатолием Марченко — это не только возмущающая, но и больно оскорбляющая *клевета*.

* Т.С. Ходорович держала голодовку 13 дней — все время пребывания Марченко после суда в Калужской тюрьме.

И вот уже в который раз я обращаюсь к людям с одной и той же просьбой:

Заступитесь за человека! Защитите его человеческое достоинство! Остановите насилие!

Ведь народная мудрость гласит: "Мутна и грязна река, да ключей много чистых вливается в нее и есть надежда, что вода очистится".

31 марта 1975 г.

Т.Ходорович

*Председателю Президиума Верховного Совета СССР г-ну Подгорному
от Богораз-Брухман Ларисы Иосифовны
(Москва, Ленинский проспект 85, кв.3)*

Заявление*

31 марта с.г. мой муж Марченко Анатолий Тихонович осужден по ст. 198² (нарушение административного надзора) УК РСФСР на четыре года ссылки. Установление надзора, методы его осуществления, наконец, самый суд — все это явно показывает, что мой муж оказался в положении вне закона. Достаточно сказать, что приговор вынесен на основании лжесвидетельства милиционеров — представителей власти, и хотя установить факт лжесвидетельства легче легкого, суд отказался даже выслушать показания в пользу Марченко. Вполне ясно обнаружилось, что государство не считает его своим гражданином, пользующимся защитой закона. Впрочем, еще до возбуждения уголовного дела, в декабре 1974 года А.Т. Марченко направил Вам заявление о своем отказе от гражданства (по тем же мотивам). Он просит разрешить ему эмигрировать в США; документы для выезда его и его семьи сданы в ОВИР.

Наставая на эмиграции, мой муж с момента ареста объявил бессрочную голодовку. Он продолжает голодовку и сейчас, не намерен ее снимать и в ссылке. Очевидно, что он решил на смертельную голодовку. Впрочем, его положение вне закона, пока он останется в СССР, все равно равносильно смерти.

* Ответа не последовало.

Прошу Вас, г-н Председатель, разрешить моему мужу А.Т. Марченко, а с ним и мне с ребенком, покинуть страну. Тем самым мы избавим и государственные органы власти от необходимости надзора за нами (на воле или в ссылке) как за нежелательными лицами.

4 апреля 1975 года

(Л. Богораз)

*Президенту США – Джеральду Форду
Конгрессу США
Редакциям газет "Нью Йорк Таймс",
"Вашингтон Пост".*

Уважаемый господин Президент! Уважаемые господа конгрессмены! Я обращаюсь к Вам в беспокойстве за жизнь Анатолия Марченко – автора книги "Мои показания" (о порядках, царящих в советских лагерях принудительного труда для политзаключенных).

Некоторое время тому назад он заявил о желании эмигрировать из СССР в США. 31 марта этого года Калужским горсудом он осужден к четырем годам ссылки. Какие бы при этом обвинения не выдвигались, налицо нежелание советских властей позволить эмиграцию из СССР в Вашу страну. Поэтому остается только одна надежда, что Вы своим авторитетом сможете способствовать положительному решению этого вопроса. Интересы гуманности и свободы требуют неотлагательного вмешательства в его судьбу.

Я обращаюсь к Вам с просьбой использовать все доступные Вам способы для спасения жизни этого замечательного человека. Любая страна могла бы гордиться таким гражданином. И может только удивлять, что советские власти вынуждают лучших людей страны искать себе новую Родину.

Сискренным уважением –

11 апреля 1975 года

– Андрей Григоренко

Голодовка Анатолия Марченко

Анатолий Марченко, автор известной книги "Мои показания", изданной несколько лет тому назад на Западе, объявил бессрочную голодовку с самого первого дня своего ареста 26 февраля 1975 года. Невзирая на последствия для здоровья (он подвергается насильственному искусственному кормлению) он будет продолжать ее до тех пор, пока не будут удовлетворены его требования. Эти требования элементарны: он хочет получить разрешение на эмиграцию свою и своей семьи (жены и ребенка) в Соединенные Штаты Америки, откуда он получил несколько приглашений.

Контртребования властей нелепы, но, на первый взгляд, не кажутся неприемлемыми; однако, при более внимательном рассмотрении убеждаешься, что Марченко прав, отказываясь принять их.

Власти требуют, чтобы Марченко, уже отказавшийся публично от советского гражданства (правда, "публично" в советских условиях означает, что никто не узнал об этом из советских газет или радио), оформлял свой отъезд не в США, а в Израиль. Они изменили бы своим древним привычкам, если бы обошлись без грубого шантажа: он может выбирать — либо Израиль, либо концлагерь! Так Марченко оказался снова за решеткой.

Формальным поводом для возбуждения против него нового судебного дела, пятого по счету в его жизни (ему 37 лет, из которых 11 лет он провел в тюрьмах и концлагерях), являются так называемые "злостные нарушения режима административного надзора". А именно, он не имеет права находиться в городе Москве, где проживает его семья. Он должен жить под надзором в городе Таруса. Каждый день после восьми часов вечера Марченко обязан быть у себя дома, по месту надзора. Однако, постоянно следящая за ним милиция дважды или трижды обнаружила его в Москве, в кругу своей семьи. В результате ему предстоит суд и в худшем случае — трехлетнее тюремное заключение.

Этот общественный деятель, известный и в своей стране, и за рубежом, травится властями так, как если бы он был опасный уголовный преступник!

Разумеется, Анатолий Марченко, уже потерявший значитель-

ную часть слуха в тюремном заключении, так же как и Лариса Богораз, его жена, отбывшая четыре года ссылки за участие в демонстрации против оккупации Чехословакии, имеют абсолютное моральное право принять условия властей. Его горячо убеждали в этом друзья (и, конечно, они были обязаны это делать). Но Марченко, положив на одну чашу весов бесспорные интересы самосохранения, а на другую столь же бесспорные этические принципы, выбрал в пользу последних, и это его право.

В действительности его твердая позиция, если бы она была поддержана международным общественным мнением, могла бы сыграть большую роль в борьбе за либерализацию в Советском Союзе, важную не только для нас, граждан СССР, но, между прочим, и для безопасности Европы.

В этом частном конфликте сфокусировано сразу несколько аспектов борьбы за права личности в СССР.

Прежде всего речь идет о праве на эмиграцию, — не только для евреев, с эмиграцией которых власти де-факто уже частично примирились, но и для всех остальных граждан.

Очевидно, что признание права на выезд для основного населения страны повлечет за собой и признание права на возвращение, т.е., фактически признание права на свободные поездки граждан за границу. Нет нужды доказывать исключительную важность такой реформы в одной из сверхдержав мира. В настоящее время огромное количество пограничников наглухо перекрывает все границы государства, не допуская свободного обмена людьми и информацией между СССР и другими странами. Хотя количество туристов и командированных за границу специалистов возрастает из года в год, каждый из них проходит через унижительные процедуры проверок, и даже небольшое отклонение от предписаний лишает человека права на дальнейшие поездки.

Власти оказывают жестокое сопротивление попыткам свободного выбора гражданства, хотя это право выбора зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека, под которой стоит и подпись СССР. Мне стал известен, например, случай недавнего (4 декабря 1974 года) заключения в сумасшедший дом в г. Ереване молодого человека — армянина Александра Малхазяна, желающего эмигрировать из СССР по политическим мотивам. По отношению к Марченко был применен другой метод, ранее не дававший осечек по отношению к дру-

гим диссидентам. По существу ему предложено формально объявить, что он уезжает не по политическим причинам, а как человек, связанный с сионизмом. Потерпев фактическое, хотя и частичное поражение в вопросе о еврейской эмиграции, советские власти хотели бы теперь перепутать в сознании простых граждан, питающихся лишь слухами (и, возможно, также в своем собственном сознании) общее движение за права личности в СССР с частным движением евреев за право жить на своей родине (встречающим, конечно, понимание и поддержку либерального крыла инакомыслящих СССР.)

Если бы твердый отказ Марченко подыгрывать властям в этой нечистой игре встретил достаточно мощную поддержку общественного мнения, то не исключено, что это могло бы послужить началом новой кампании как за право выездов, так и за право свободных поездок за границу граждан Советского Союза.

Для дела Марченко характерен и еще один аспект, касающийся принципов отношений между диктатурой и личностью.

Советские власти убеждены, что отдельную личность можно и нужно сломить, унижить и заставить играть в одну игру с властями. Это не случайно, что именно в СССР получило распространение "лечение" инакомыслящих в психиатрических лечебницах, в одной компании с несчастными идиотами. Это не только жестокость, но и отвратительное унижение личности. Например, совсем недавно (12 марта 1975 года) на партийном собрании (!) московского радио и телевидения была официально объявлена сумасшедшей *вся семья* участника 2-й мировой войны, бывшего командира партизанского отряда, Бориса Винокурова за то, что на партсобрании 19 февраля 1975 года он критиковал однопартийную систему и предлагал вторую партию.

Для Марченко оформление выезда в Израиль вместо США было бы по существу заменой политической эмиграции на бегство. Властям необходимо было унижить борца за права человека, автора известной книги о советских концлагерях *после* сталинского периода, унижить хотя бы один раз и заставить хотя бы напоследок сыграть вместе с ними в их игру. Но именно на это и не мог пойти Марченко.

К моменту окончания сборника Анатолий Марченко находился на этапе – *ЭТО БЫЛ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ ДЕНЬ ГОЛОДОВКИ.*

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ТАРУСЫ ДО ЧУНЫ	3
ИМЕНЕМ РСФСР—	
сборник документов по делу Анатолия Марченко	57
Краткая запись судебного процесса	59
Юридический комментарий	76
Материалы к гражданскому расследованию	83
От Дубровлага до ссылки	
— (основные даты и документы) *	97

* По мысли составителей в этот раздел должна быть включена статья В.Турчина об Анатолии Марченко, однако, как сообщается, эта статья была изъята на обыске у автора, и ни одного экземпляра этой статьи не сохранилось — *Изд.*